

Annotation

«Голем» – это лучшая книга для тех, кто любит фильм «Сердце Ангела», книги Х.Кортасара и прозу Мураками. Смесь кафкианской грусти, средневекового духа весенних пражских улиц, каббалистических знаков и детектива – все это «Голем». А также это чудовище, созданное из глины средневековым мастером. Во рту у него таинственная пентаграмма, без которой он обращается в кучу земли. Но не дай бог вам повстречать Голема на улице ночной Праги даже пятьсот лет спустя...

- [Густав Майринк](#)
 - [I. Сон](#)
 - [II. День](#)
 - [III. «I»](#)
 - [IV. Прага](#)
 - [V. Пунш](#)
 - [VI. Ночь](#)
 - [VII. Явь](#)
 - [VIII. Снег](#)
 - [IX. Наваждение](#)
 - [X. Свет](#)
 - [XI. Нужда](#)
 - [XII. Страх](#)
 - [XIII. Стремление](#)
 - [XIV. Женщина](#)
 - [XV. Хитрость](#)
 - [XVI. Мытарство](#)
 - [XVII. Май](#)
 - [XVIII. Луна](#)
 - [XIX. На свободе](#)
 - [XX. Заключение](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)

- 4
 - 5
 - 6
-

Густав Майринк

Голем

I. Сон

Лунный свет падает на край моей постели и лежит там большою сияющею плоскою плитою.

Когда лик полной луны начинает ущербляться и правая его сторона идет на убыль – точно лицо, приближающееся к старости, сперва покрывается морщинами и начинает худеть, – в такие часы мной овладевает тяжелое и мучительное беспокойство.

Я не сплю и не бодрствую, и в полусне в моем сознании смешивается пережитое с прочитанным и слышанным, словно стекаются струи разной окраски и ясности.

Перед сном я читал о жизни Будды Готама, и теперь на тысячу ладов проносятся в моем сознании, постоянно возвращаясь к началу, следующие слова:

«Ворона слетела к камню, который походил на кусок сала, и думала: здесь что-то вкусное. Но не найдя ничего вкусного, она отлетела прочь. Подобно вороне, спустившейся к камню, покидаем мы – ищущие – аскета Готаму, потеряв вкус к нему».

И образ камня, походившего на кусок сала, вырастает в моем мозгу неимоверно.

Я ступаю по руслу высохшей реки и собираю гладкие камешки.

Серо-синие камни с выкрапленной поблескивающей пылью, над которыми я размышляю и размышляю, и все-таки, не знаю, что с ними предпринять, – затем черные, с желтыми, как сера, пятнами, как окаменевшие попытки ребенка вылепить грубую пятнистую ящерицу.

И мне хочется отбросить их далеко от себя, эти камешки, но они выпадают все у меня из рук, из поля зрения моего не могу их прогнать.

Все камни, которые когда-либо играли роль в моей жизни, встают и обступают меня.

Одни, как крупные, аспидного цвета, крабы, перед возвращающимся приливом, напрягая силы, стараются выкарабкаться из песка на свет, всячески стремятся обратить на себя мой взор, чтобы поведать мне о чем-то бесконечно важном.

Другие, истощенные, бессильно падают назад, в свои ямы и отказываются когда-либо что-нибудь сказать.

Время от времени я выхожу из сумерек этого полусна и на мгновение вижу снова на выпученном краю моего одеяла лунный свет, лежащий большою сияющей плоскою плитою, чтобы затем в закоулках вновь ускользающего сознания беспокойно искать мучающий меня камень, что где-то, в отбросах моего воспоминания, лежит, похожий на кусок сала.

Возле него на земле, вероятно, когда-то помещалась водосточная труба – рисую я себе – загнутая под тупым углом, с краями, изъеденными ржавчиной, и упорно я стараюсь разбудить в своем сознании такой образ, который обманул бы мои вспугнутые мысли и убаюкал бы их.

Это мне не удастся.

Все снова и снова, с бессмысленным упорством, неутомимо, как ставень, которым ветер через равные промежутки времени бьет в стену, твердит во мне упрямый голос: – это совсем не то, это вовсе не тот камень, который похож на кусок сала.

От этого голоса не отделаться.

Хоть бы сто раз я доказывал себе, что это совершенно неважно, он умолкает на одно мгновенье, потом опять незаметно просыпается и настойчиво начинает сызнова: – хорошо, хорошо, пусть так, но это все же не камень, похожий на кусок сала.

Постепенно мною овладевает невыносимое чувство полной беспомощности.

Что дальше произошло, не знаю. Добровольно ли я отказался от всякого сопротивления, или они – мои мысли – меня одолели и покорили.

Знаю только, что мое тело лежит спящим в постели, а мое сознание отделилось от него и больше с ним не связано.

Кто же теперь мое Я? хочется вдруг спросить, но тут я соображаю, что у меня нет больше органа, посредством которого я мог бы вопрошать, и я начинаю бояться, что глупый голос снова проснется во мне и снова начнет бесконечный допрос о камне и сале.

И я отмахиваюсь от всего.

II. День

Я стоял в темном дворе и сквозь красную арку ворот видел на противоположной стороне узкой и грязной улицы старьевщика-еврея, прислонившегося к лавчонке, увешанной старым железным хламом, сломанными инструментами, ржавыми стременами и коньками, равно как и множеством других отслуживших вещей.

Эта картина заключала в себе мучительное однообразие ежедневных впечатлений, врывающихся, как уличные торговцы, через порог нашего восприятия, и не возбуждала во мне ни любопытства, ни удивления.

Я сознавал, что в этой обстановке я уже давно дома.

Но и это сознание не возбудило во мне глубоких чувств, хотя шло вразрез с тем, что я так недавно пережил, и с тем, каким образом я дошел до настоящего состояния.

Я, должно быть, когда-то слышал или читал странное сравнение камня с кусочком сала. Оно пришло мне на ум в то время, как я поднимался к себе в комнату по истоптанным ступенькам и мельком подумал о засаленном и каменном пороге.

Тут я услышал впереди себя чьи-то шаги, и когда я подошел к своей двери, увидел, что это была четырнадцатилетняя рыжая Розина, дочь старьевщика Аарона Вассертрума.

Я должен был вплотную протесниться около нее; она стояла спиной к перилам, похотливо откинувшись назад.

Она положила свои грязные руки на железные перила, чтоб держаться, и в тусклом полумраке я заметил ее светящиеся обнаженные руки.

Я уклонился от ее взгляда.

Мне противна была ее навязчивая улыбка и это восковое лицо карусельной лошадки.

У нее, должно быть, рыхлое белое тело, как у тритона, которого я недавно видел в клетке с ящерицами у одного продавца птиц, – так почувствовал я.

Ресницы рыжих противны мне, как кроличьи.

Я взбежал и быстро захлопнул за собою дверь.

Из своего окна я мог наблюдать старьевщика Аарона Вассертрума у его лотка.

Он стоял, прислонившись к выступу темной арки и стриг себе ногти.

Дочь или племянница ему рыжая Розина? У него никакого сходства с ней.

Среди еврейских лиц, которые ежедневно попадают мне на Петушьей улице, я ясно различаю несколько пород; несмотря на близкое родство отдельных индивидуумов, их так же трудно смешать между собой, как масло с водой. Здесь не приходится говорить: это – братья, или это – отец и сын.

Этот принадлежит к одной породе, тот – к другой, – вот все, что можно прочесть на лицах.

Что же из того, если бы Розина и была похожа на старьевщика.

Эти породы питают друг к другу тайное отвращение и неприязнь, прорывающиеся даже сквозь стены узкого кровного родства, но они скрывают это от внешнего мира, как опасную тайну.

Ни один не выдает себя, и в этом единодушии все похожи на озлобленных слепцов, что бредут, держась за грязную веревку – кто обеими руками, кто одним пальцем, но все с суеверным ужасом перед бездной, в которую каждый должен упасть, как только исчезнет общая поддержка, и люди потеряют друг друга.

Розина – из той породы, рыжий тип которой еще отвратительнее других. Принадлежащие к этой породе мужчины узкогруды, с длинной шеей и выступающим кадыком.

Они кажутся целиком покрытыми веснушками, они несут всю жизнь тяжелые муки – эти мужчины – и тайно ведут непрерывную и безрезультатную борьбу со своей похотью, в постоянном отвратительном страхе за свое здоровье.

Мне было неясно, почему собственно я подумал, что Розина родственница старьевщика Вассертрума.

Ведь никогда же я не видел ее рядом со стариком, никогда не замечал, чтоб один из них окликнул другого.

Почти всегда она была на нашем дворе или же пробиралась по темным уголкам и проходам нашего дома.

Я уверен, что все жильцы моего дома считали ее близкой родственницей или, по меньшей мере, воспитанницей старьевщика, и

тем не менее я не сомневаюсь, что ни один из них не привел бы оснований для своего предположения.

Я хотел отвлечь мысли от Розины и взглянул в раскрытое окно комнаты на Петушью улицу, и вдруг, точно почувствовав мой взгляд, Аарон Вассертрум повернул лицо в мою сторону.

Отвратительное неподвижное лицо, с круглыми рыбьими глазами и с отвислой заячьей губой.

Он показался мне пауком среди людей, тонко чувствующим всякое прикосновение к паутине, при всей своей кажущейся безучастности.

Чем он живет? Что думает, чем занимается?

Я не знал.

На каменных выступах его лавчонки, изо дня в день, из года в год, висят все те же мертвые, бесполезные вещи.

Я мог бы их представить себе даже с закрытыми глазами: тут согнувшаяся жестяная труба без клапанов, тут пожелтевшая картинка со странно расположенными солдатами, там связка заржавевших шпор на потертом кожаном ремешке и всякий прочий полуистлевший хлам.

А спереди земля так густо устлана рядом железных сковород, что невозможно переступить через порог лавчонки.

Эти вещи не убывали и не возрастали в числе. Если какой-нибудь прохожий все же останавливался и осведомлялся о цене того или иного предмета, старьевщик впадал в жесточайшее возбуждение.

Он ужасно выпячивал тогда свою заячью губу, лепетал что-то невразумительное своим клокочущим прерывистым басом, так что у покупателя отбивало всякую охоту спрашивать дальше, и, испуганный, он проходил мимо.

Взгляд Аарона Вассертрума с быстротой молнии отпрянул от меня и с напряженным интересом остановился на голой стене соседнего с моим окном дома.

Что он мог там увидеть?

Дом стоит спиной к Петушьей улице, и окна его выходят во двор. Только одно на улицу.

Случайно в этот момент в квартиру, расположенную рядом с моей, в том же этаже – по-видимому, это угловое ателье, – вошли люди: через стену я вдруг услышал голоса – мужской и женский.

Но не может быть, чтобы старьевщик заметил это снизу.

У моей двери показался кто-то, и я догадался, что это все еще Розина, которая стоит в темноте, в похотливом ожидании, что, может быть, я ее все-таки позову.

Внизу же, на пол-этажа ниже, на ступеньках, прыщеватый, полувзрослый Лойза, затаив дыхание, караулит, не открою ли я дверь, и я буквально чувствую дыхание его ненависти и его бурлящую ревность.

Он боится подойти ближе, чтоб Розина не заметила его. Он знает, что зависит от нее, как голодный волк от своего сторожа. Но как охотно он вскочил бы и в беспамятстве дал бы выход своей ярости!

Я присел к письменному столу и взялся за свои клещи и резцы.

Но я ничего не мог сделать, моя рука не была достаточно спокойна, чтоб исправить тонкую японскую резьбу.

Темная, мрачная жизнь, которая висит над этим домом, не дает мне покою, и все время встают во мне старые картины.

Лойза и его брат – близнец Яромир – вряд ли старше Розины, разве на один год.

Их отца, который был просвирником, я с трудом припоминаю; теперь заботится о них, кажется, какая-то старуха.

Я только не знаю, какая именно из множества старух, живущих здесь, как кроты, в своих норах.

Она опекает обоих мальчиков – это значит: она дает им приют, за что те отдают ей все, что им удастся украсть или выпросить.

Кормит ли она их? Не думаю, потому что старуха приходит домой поздно вечером.

Она, должно быть, убирает покойников.

Лойзу, Яромира и Розину я видывал часто, когда они еще детьми беспечно играли на дворе.

Но это время давно уже прошло.

По целым дням теперь Лойза увивается за рыжеволосой девочкой.

Иногда он подолгу тщетно ищет ее и, нигде не находя, прокрадывается к моей двери и с искаженным лицом ждет, не придет ли она сюда тайком.

И, сидя за работой, я вижу, как он привидением бродит по извилистым переходам и прислушивается, изгибая голову на изможденной шее.

Порою прорезывает тишину внезапный дикий шум.

Глухонемой Яромир, все думы которого наполнены страстной и неослабевающей мечтой о Розине, диким зверем блуждает по дому, и нечленораздельный воющий лай, который он издает, обезумев от ревности и подозрений, звучит так жутко, что стынет кровь в жилах.

В слепом бешенстве он рыщет, надеясь отыскать их вместе в одном из тысячи грязных закоулков. Его влечет стремление всегда следовать за братом по пятам, чтоб ничего не случилось с Розиной без его ведома.

И именно эти беспрестанные муки калеки кажутся мне обстоятельством, побуждающим Розину постоянно путаться с другим.

Как только ее склонность или податливость ослабевают, Лойза изобретает все новые гадости, чтоб снова распалить жадность Розины.

Они нарочно, как бы нечаянно, дают глухонемому застичь их, коварно заманивают безумного в темные коридоры и там из заржавевших обручей, ударяющих, если на них наступить, и из железных грабель, лежащих остриями кверху, устраивают злые ловушки, в которые тот падает и разбивается в кровь.

Время от времени Розина самостоятельно выдумывает какой-нибудь адский план, чтобы довести мучения Яромира до последней степени.

Она внезапно меняет свое отношение к нему и делает вид, что он вдруг понравился ей.

С ее постоянной улыбкой она поспешно сообщает калеке такие вещи, которые приводят его почти в безумное неистовство; у нее есть для таких случаев таинственный с виду и полупонятный язык знаков; последний, неизбежно, опутывает глухонемого сетью неизвестности и гложущих надежд.

Однажды я видел, как она стояла перед ним во дворе и что-то говорила ему такими оживленными движениями губ и жестами, что, казалось, вот-вот, он упадет в диком исступлении.

По лицу его струился пот от сверхчеловеческого усилия схватить смысл намеренно неясного, спешного сообщения.

Весь последующий день он в лихорадочном ожидании бродил по темным лестницам другого полуразрушенного дома, расположенного дальше по узкой и грязной Петушьей улице. Он даже упустил время выпросить на углу пару крейцеров.

И когда поздно вечером, полумертвый от голода и возбуждения, он хотел войти домой, его приемная мать давно уже закрыла дверь.

Веселый женский смех донесся ко мне через стену из соседнего ателье.

Смех. В этих домах веселый смех. Во всем гетто нет ни одного человека, который умел бы весело смеяться.

Тут я вспомнил, что рассказывал мне на днях старый хозяин марионеточного театра Цвак: молодой, богатый господин снял у него это ателье за дорогую плату, очевидно, для того, чтобы без помехи встречаться с избранницей сердца.

Надо было постепенно по ночам, одну вещь за другой, перенести туда, наверх, дорогую мебель нового жильца, так, чтобы никто в доме не заметил этого.

Добродушный старик потирал руки от удовольствия, рассказывая мне об этом, и, как ребенок, радовался, что ему удалось все ловко обставить: никто из жильцов не мог иметь и представления о романтической парочке.

Проникнуть в ателье можно было из трех домов. Даже через подъемную дверь имелся проход!

Да, если поднять железную дверь чердака, а это было оттуда очень легко, – можно было через мою комнату попасть на лестницу нашего дома и использовать ее, как выход.

Снова доносится веселый смех, пробуждая во мне неясное воспоминание об одной роскошной квартире и об одном аристократическом семействе, куда меня часто приглашали для незначительного ремонта разных ценных старинных вещей.

Вдруг я слышу рядом пронзительный крик. Слушаю в испуге.

Железная дверь быстро поднялась, и через мгновение в мою комнату влетела дама.

С распущенными волосами, бледная, как стена, с наброшенной на голые плечи золотою брокатною материей.

– Майстер Пернат, спрячьте меня... ради Бога!.. не спрашивайте, спрячьте меня.

Не успел я ответить, как дверь снова поднялась и быстро захлопнулась.

На одну секунду отвратительной маской оскалилось лицо старьевщика Аарона Вассертрума.

Круглое светлое пятно снова передо мной, и в лунных лучах я узнаю снова край моей постели.

Тяжелым, мягким покрывалом лежит еще на мне сон, и золотыми буквами в памяти моей блестит имя Пернат.

Где вычитал я это имя? – Атанасиус Пернат?

Кажется мне, кажется, где-то давно-давно обменял я свою шляпу, и тогда удивляло меня, что новая шляпа была как раз по мне, хотя у меня совсем особенная форма головы.

Я заглянул в эту чужую шляпу тогда и – да, да, там на белой подкладке было написано золотыми бумажными буквами:

АТАНАСИУС ПЕРНАТ.

Я боялся, мне было жутко от этой шляпы – я не знал, почему. Забытый мною голос, с забытым вопросом, где камень, похожий на сало, летит в меня, как стрела.

Быстро, рисую я себе острый, слащаво улыбающийся профиль рыжей Розины, и мне удастся таким образом избежать стрелы, которая теряется тотчас в темноте.

Да, лицо Розины. Оно еще сильнее, чем глухо звучащий голос, и теперь, когда я снова буду скрыт в моей комнате по Петушьей улице, я могу быть совершенно спокоен.

III. «I»

Если я не ошибся, что кто-то равномерным шагом подымается по лестнице, чтобы зайти ко мне, то он должен быть теперь приблизительно на последних ступенях.

Теперь он огибает угол, где находится квартира архивариуса Шемайи Гиллея и подходит к выступу площадки верхнего этажа, выложенной красным кирпичом.

Теперь он идет ощупью вдоль стены и в эту минуту должен с трудом в темноте разбирать мое имя на дверной доске.

Я встал посреди комнаты и смотрю на дверь.

Дверь открылась, и он вошел.

Он сделал несколько шагов по направлению ко мне, не сняв шляпы и не сказав мне ни слова приветия.

Так ведет он себя, когда он дома, почувствовал я, и я нашел вполне естественным, что он держит себя именно так, не иначе.

Он полез в карман и вытащил оттуда книгу.

Затем он долго перелистывал ее.

Переплет книги был металлический, и углубления в форме розеток и печатей были заполнены красками и маленькими камешками.

Наконец, он нашел то место, которое искал, и указал на него пальцем.

Глава называлась «Ibbur» – «чреватость души», – расшифровал я.

Большое, золотом и киноварью выведенное заглавие «I» занимало почти половину страницы, которую я невольно пробежал, и было у края несколько повреждено.

Я должен был исправить это.

Заглавная буква была не наклеена на переплет, как я это до сих пор видал в старинных книгах, а скорее было похоже на то, что она состоит из двух тонких золотых пластинок, спаянных посередине и захватывающих концами края пергамента.

Значит, где была буква, должно быть отверстие в листе.

Если же это так, то на следующей странице должно было быть обратное изображение буквы «I»?

Я перевернул страницу и увидел, что предположение мое правильно. Невольно я прочитал и всю эту страницу и следующую.

И стал читать дальше и дальше.

Книга говорила мне, как говорит сновидение, только яснее и значительно отчетливее. Она шевелилась в моем сердце, как вопрос.

Слова струились из невидимых уст, оживали и подходили ко мне. Они кружились и вихрились вокруг меня как пестро одетые рабыни, уходили потом в землю или расплывались клубами дыма в воздухе, давая место следующим. Каждая надеялась, что я изберу ее и не посмотрю на следующую.

Некоторые из них выступали пышными павами в роскошных одеяниях, и поступь их была медленной и размеренной.

Другие, как королевы, но старые, отжившие, с подведенными веками, с выражением проститутки у губ и с морщинами, которые были покрыты отвратительными румянами.

Я провожал взглядом одних, встречал других, и мой взор скользил по длинному ряду серых существ, с лицами настолько обыкновенными и невыразительными, что казалось невозможным сохранить их в памяти.

Затем они притащили женщину, совершенно обнаженную и огромную, как медная статуя.

На одну секунду женщина остановилась и наклонилась передо мною.

Ее ресницы были такой величины, как все мое тело. Она молча указала на пульс ее левой руки.

Он бился, как землетрясение, и я чувствовал в ней жизнь целого мира.

Издалика выплывало шествие корибантов. Мужчина и женщина обнимали друг друга. Я видел их приближающимися издали, и все ближе подходила процессия.

Теперь я услышал звонкие и восторженные песни совсем возле меня, и мой взор искал обнявшейся пары.

Она обратилась, однако, в одну фигуру, и полумужчиной, полуженщиной Гермафродитом – сидела она на перламутровом троне.

И корона Гермафродита заканчивалась доской из красного дерева, на которой червь разрушения начертал таинственные руны.

Между тем, в облаке пыли с топотом вошло стадо маленьких слепых овечек: животных, которых погонял гигантский Гермафродит в своей свите, чтоб поддерживать жизнь пляшущих корибантов.

Иногда среди существ, струившихся из невиданных уст, появлялись выходцы из могил – с платками, закрывавшими лицо.

Они останавливались передо мной, внезапно роняли покрывала и голодным взглядом хищных зверей смотрели в мое сердце, так что леденящий ужас проникал до мозга костей, а кровь в жилах останавливалась, как поток, в который падают с неба обломки скал – внезапно и в самое русло.

Мимо промелькнула женщина. Лица ее я не видел, она отвернулась – на ней было покрывало из льющихся слез.

Маски неслись мимо с плясом и не обращали на меня внимания.

Только Пьеро задумчиво озирается на меня и возвращается назад. Вырастает нередо мной, заглядывает в мое лицо, как в зеркало.

Он делает такие странные гримасы, взмахивает и двигает руками, то колеблясь, то молниеносно быстро, и мной овладевает необоримое стремление подражать ему: мигать глазами, как он, дергать плечами и стягивать углы губ, как он.

Но тут толпящиеся за ним существа, желая попасть в поле моего зрения, нетерпеливо отталкивают его.

Но все они не имеют плоти.

Они – скользящие жемчужины на шелковом шнуре, отдельные тона мелодии, льющейся из невидимых уст.

Это уже больше не книга со мной говорила. Это был голос. Голос, который чего-то хотел от меня, чего я не понимал, как ни старался я. Он мучил меня жгучими непонятными вопросами.

Но голос, произносивший эти видимые слова, умер без отзвука. Каждый звук, который раздается в мире настоящего, порождает много откликов, как каждая вещь бросает одну большую тень и много маленьких; но эти голоса были без всякого эхо – они давным-давно отзвучали и развеялись.

Я прочел книгу до конца и еще держал ее в руках, и казалось мне, что я в поисках чего-то перелистывал свои мозги, а вовсе не книгу.

Все, что сказал мне голос, я нес в себе всю жизнь, но скрыто было все это, забыто, где-то было запрятано от моей мысли до сегодняшнего дня.

Я оглянулся.

Где человек, который принес мне книгу?

Ушел!

Он придет за ней, когда она будет готова?

Или я должен отнести ему?

Но не припомню, сказал ли он, где он живет.

Я хотел воскресить в памяти его фигуру, но мне это не удавалось.

Как он был одет? Стар он был или молод? Какого цвета были его волосы, борода?

Ничего, решительно ничего я не мог себе теперь представить. Всякий образ, который я себе рисовал, неудержимо распадался прежде, чем я мог сложить его в моем воображении.

Я закрыл глаза, придавил пальцами веки, чтоб поймать хоть малейшую черточку его облика.

Ничего, ничего.

Я стал посреди комнаты и смотрел на дверь; как прежде, когда он пришел, я рисовал себе: теперь он огибает угол, проходит по кирпичной площадке, теперь читает мою дощечку на двери «Атанасиус Пернат», теперь входит...

Напрасно.

Ни малейшего следа воспоминания о том, каково было его лицо, не вставало во мне.

Я увидел книгу на столе и хотел себе представить его руку, как он ее вынул из кармана и протянул мне.

Я не мог представить себе ничего: была ли она в перчатке или нет, молодая или морщинистая, были на ней кольца или нет.

Здесь мне пришла в голову странная вещь.

Точно внушение, которому нельзя противиться.

Я набросил на себя пальто, надел шляпу, вышел в коридор, спустился с лестницы. Затем я медленно вернулся в комнату.

Медленно, совсем медленно, как он, когда он пришел. И когда я открыл дверь, я увидел, что в моей комнате темно. Разве в ясный день был только что, когда я выходил?

Долго же, по-видимому, я раздумывал, что даже не заметил, как уже поздно.

И я пытался подражать незнакомцу в походке, в выражении лица, но не мог ничего припомнить.

Да и как бы я мог подражать ему, когда у меня не было никакого опорного пункта, чтобы представить себе, какой он имел вид.

Но случилось иначе. Совсем иначе, чем я думал.

Моя кожа, мои мускулы, мое тело внезапно вспомнили, не спрашивая мозга. Они делали движения, которых я не желал и не предполагал делать.

Как будто члены мои больше не принадлежали мне.

Едва я сделал два шага по комнате, моя походка сразу стала тяжелой и чужой. Это походка человека, который постоянно находится в положении падающего.

Да, да, да, такова была его походка!

Я знал совершенно точно: это он.

У меня было чужое безбородое лицо с выдающимися скулами и косыми глазами.

Я чувствовал это, но не мог увидеть себя.

«Это не мое лицо», – хотел я в ужасе закричать, хотел его ощупать, но рука не слушалась меня, она опустилась в карман и вытащила книгу.

Точно так же, как он это раньше сделал.

И вдруг я снова сижу без шляпы, без пальто, у стола, и я опять я. Я, я, Атанасиус Пернат.

Я трясся от ужаса и испуга, сердце мое было готово разорваться, и я чувствовал: пальцы призрака, которые только что еще копошились в моем мозгу, отстали от меня.

Я еще осязал на затылке холодное прикосновение их.

Теперь я знал, каков был незнакомец, я мог снова чувствовать его в себе, каждое мгновение, как только я хотел, но представить себе его облик, видеть его лицом к лицу – это все еще не удавалось мне и никогда не удастся.

Он, как негатив, незримая форма, понял я, очертаний которой я не могу схватить, в которую я сам должен внедриться, если только я захочу осознать в собственном я ее облик и выражение.

В ящике моего стола стояла железная шкатулка – туда я хотел спрятать книгу, чтобы только, когда пройдет у меня состояние душевной болезни, извлечь ее и заняться исправлением попорченной заглавной буквы «I».

И я взял книгу со стола.

Но у меня было такое чувство, как будто я ее не коснулся; я схватил шкатулку – то же ощущение. Как будто чувство осязания должно было пробежать длинное, длинное расстояние в совершенной темноте, чтобы войти в мое сознание. Как будто предметы были удалены от меня на расстояние годов и принадлежали прошлому, которое мною давно изжито!

Голос, который, кружась в темноте, ищет меня, чтобы помучить меня соляным камнем, исчез, не видя меня. И я знаю, что он приходит из царства сна. Но то, что я пережил, это была подлинная жизнь – поэтому голос этот не мог меня видеть и напрасно стремится ко мне, чувствую я.

IV. Прага

Возле меня стоял студент Харусек с поднятым воротником своего тонкого и потертого пальто, и я слышал, как у него стучали зубы от холода.

«Он может до смерти простудиться на этом сквозняке под аркой ворот», подумал я и предложил ему перейти через улицу в мою квартиру.

Но он отказался.

– Благодарю вас, мастер Пернат, – прошептал он дрожа, – к сожалению, я не располагаю временем, я должен спешить в город. Да мы к тому же промокнем до костей, если выйдем на улицу. Даже за несколько шагов! Ливень не думает ослабевать!

Потоки воды стекали с крыш и бежали по лицам домов, как ручьи слез.

Подняв немного голову, я мог видеть в четвертом этаже мое окно; сквозь дождь его стекла казались мягкими, непрозрачными и бугристыми.

Желтый грязный ручей бежал вдоль улицы, и арка ворот наполнилась прохожими, которые все хотели переждать непогоду.

– Вот плывет подвенечный букет, – вдруг произнес Харусек, указывая на пучок увядших миртов, проплывший в грязной канаве.

Кто-то позади нас громко рассмеялся этому.

Я обернулся и увидел, что это был старый, хорошо одетый господин с седыми волосами и с надутым лягушечьим лицом.

Харусек тоже бросил взгляд назад и что-то пробурчал.

Что-то неприятное было в старике; я отвернулся от него и смотрел на бесцветные дома, которые жались передо мной друг к другу, как старые обозленные под дождем животные.

Как неуютно и убого смотрели они.

Они казались построенными без всякой цели, точно сорная трава, пробивающаяся из земли.

К низкой, желтой каменной стене, единственному уцелевшему остатку старого длинного здания, прислонили их два-три столетия тому назад как попало, не принимая в соображение соседних построек.

Тут кривобокий дом с отступающим назад челом; рядом другой, выступающий точно клык.

Под мутным небом они смотрят, как во сне, и когда мрак осенних вечеров висит над улицей и помогает им скрыть едва заметную тихую игру их физиономий, тогда не видно и следа той предательской и враждебной жизни, что порою излучают они.

За годы жизни, которую я провел здесь, во мне сложилось твердое, неизгладимое впечатление, что для них существуют определенные часы ночи и утренних сумерек, когда они возбужденно ведут между собою тихие таинственные совещания. И порою сквозь их стены пробегает слабый неизъяснимый трепет, бегут шумы по их крышам, падают вещи по водосточным трубам – и мы небрежно и тупо воспринимаем их, не доискиваясь причин.

Часто грезилось мне, что я прислушиваюсь к призрачной жизни этих домов, и с жутким удивлением я узнавал при этом, что они – тайные и настоящие хозяева улицы, что они могут отдать или снова вобрать в себя ее жизнь и чувства – дать их на день обитателям, которые живут здесь, чтобы в ближайшую ночь снова потребовать обратно с ростовщическими процентами.

И когда я пропускаю сквозь свое сознание этих странных людей, живущих здесь, как тени, как существа, не рожденные матерями, кажущиеся состряпанными в своих мыслях и поступках как попало, представляющих какую-то крошку, я особенно склоняюсь к мысли, что такие сновидения заключают в себе таинственные истины, которые наяву рассеиваются во мне, как впечатления красочных сказок.

Тогда во мне оживает загадочная легенда о призрачном Големе, искусственном человеке, которого однажды здесь в гетто создал из стихий один опытный в каббале раввин, призвал к безразумному автоматическому бытию, засунув ему в зубы магическую тетраграмму.

И думается мне, что, как тот Голем оказался глиняным чурбаном в ту же секунду, как таинственные буквы жизни были вынуты из его рта, так и все эти люди должны мгновенно лишиться души, стоит только потушить в их мозгу – у одного какое-нибудь незначительное стремление, второстепенное желание, может быть, бессмысленную привычку, у другого – просто смутное ожидание чего-то совершенно неопределенного, неуловимого.

Какое неизменное испуганное страдание в этих созданиях!

Никогда не видно, чтоб они работали, эти люди, но тем не менее встают они рано, при первых проблесках утра, и, затаив дыхание, ждут – точно чуда, которое никогда не приходит.

И если уже случается, что кто-нибудь попадет в их владение, какой-нибудь безоружный, за счет которого они могли бы пожить, их вдруг сковывает страх, загоняет их обратно по своим углам и тушит в них всякое намеренье.

Нет существа достаточно слабого, чтоб у них хватило мужества поработить его.

– Выродившиеся беззубые хищники, у которых отнята сила и оружие, – медленно произнес, взглянув на меня, Харусек.

Как он мог угадать, о чем я думаю?

Иногда человек так напрягает свои мысли, почувствовал я, что они в состоянии перескочить, как искра, из одного мозга в другой.

– Чем они могут жить! – сказал я через минуту.

– Жить?.. Чем!.. Среди них имеются миллионеры!

Я взглянул на Харусека. Что хотел он этим сказать!

Но студент молчал и смотрел на облака.

На секунду шум голосов под аркой смолк, и явственно слышался стук дождя.

Что хотел он этим сказать: «Есть среди них миллионеры!»?

Опять случилось так, точно Харусек угадал мои мысли.

Он указал на лоток возле нас, у которого вода коричнево-красными струями омывала ржавую железную рухлядь.

– Аарон Вассертрум! Он, к примеру – миллионер. Почти треть еврейского города принадлежит ему. Вы не знали этого, господин Пернат?

У меня захватило дыхание: «Аарон Вассертрум! Старьевщик Аарон Вассертрум – миллионер!»

– О, я знаю его хорошо, – раздраженно продолжал Харусек, как будто он только того и ждал, чтоб я спросил его, – я знал и его сына, доктора Вассори. Вы не слыхали о нем? О докторе Вассори, знаменитом окулисте? Еще в прошлом году весь город оживленно говорил о нем, как о великом ученом. Никто не знал тогда, что он переименовал фамилию и прежде назывался Вассертрум. Он охотно разыгрывал ушедшего от мира человека науки, и когда однажды зашла речь о его происхождении, он скромно и взволнованно сказал,

полусловами, что еще его отец происходил из гетто – что ему с самого начала приходилось пробиваться к свету со всевозможными огорчениями и невыразимыми заботами.

Да! С огорчениями и заботами.

Но с *чьими* огорчениями и заботами, и какими средствами, этого он не сказал. А я знаю, при чем тут гетто.

Харусек схватил мою руку и потряс ее сильно.

– Майстер Пернат, я едва сам постигаю, как я беден. Я должен ходить полунагой, оборванцем, как видите, а я студент-медик, я образованный человек.

Он приоткрыл пальто, и я с ужасом увидел, что на нем не было ни пиджака, ни рубахи: пальто у него было на голом теле.

– И таким нищим я был уже тогда, когда привел к гибели эту бестию, этого всемогущего, знаменитого доктора Вассори, и до сих пор еще никто не подозревает, что именно я, только я – настоящий виновник происшедшего.

В городе думают, что это некий доктор Савиоли обнаружил все его проделки и довел его до самоубийства.

Доктор Савиоли был только моим орудием, говорю я вам! Я сам создал план, собрал все материалы, достал улики и тихо, незаметно вытаскивал камень за камнем из строения доктора Вассори, довел его до такого состояния, что никакие деньги в мире, никакая хитрость гетто не могли уже предотвратить катастрофы, для которой нужен был только едва ощутимый толчок.

Знаете, так... так, как играют в шахматы.

Точно так, как играют в шахматы.

И никто не знает, что это был я!

Старьевщику Аарону Вассертруму часто не дает спать жуткая мысль, что кто-то, кого он не знает, кто всегда находится рядом с ним, но кого он не может поймать, что этот кто-то, кроме доктора Савиоли, должен был сыграть роль в этом деле.

Хотя Вассертрум один из тех людей, чьи глаза способны видеть сквозь стены, но он все же не представляет себе, что есть такие люди, которые в состоянии вычислить, как длинной, невидимой, отравленной иглой можно сквозь стены, минуя камни, минуя золото, минуя бриллианты, попасть прямо в скрытую жилу жизни.

Харусек хлопнул себя по лбу и дико засмеялся.

– Аарон Вассертрум узнает это скоро, как раз в тот день, когда он захочет отомстить доктору Савиоли. Как раз в тот самый день!

И эту шахматную партию я рассчитал до последнего хода. На этот раз будет гамбит королевского слона. Вплоть до горького конца нет ни одного хода, на который я не умел бы гибелью ответить.

Кто вступит со мною в подобный гамбит, тот, говорю вам, висит в воздухе, как беззащитная марионетка на нитке – на ниточке, которую я дергаю, – слышите, которую я дергаю, у которой нет никакой свободы воли.

Студент говорил, как в бреду, и я с ужасом смотрел на него.

– Что вам сделали Вассертрум и его сын, что вы так полны ненависти?

Харусек резко перебил.

– Оставьте это, спросите лучше, как доктор Вассори сломал себе шею. Или вы предпочитаете в другой раз поговорить об этом? Дождь проходит – не хотите ли вы пойти домой?

Он понизил голос, как человек, который вдруг успокоился. Я покачал головой.

– Вы слышали когда-нибудь, как теперь лечат катаракт? Нет? Я должен вам это пояснить, майстер Пернат, чтобы вы все хорошо поняли.

Слушайте: катаракт – это злокачественное заболевание глаза, которое приводит к слепоте, и есть только одно средство предотвратить несчастье – так называемая, иридоктомия: она состоит в том, что из радужной оболочки глаза вырезают клиновидный кусочек.

Неизбежное следствие этого – сильное помутнение зрения, которое остается на всю жизнь, но процесс потери зрения удается большей частью приостановить. Однако, диагноз катаракта имеет свои особенности.

Выпадают периоды, особенно в начале болезни, когда ясные симптомы как будто исчезают, и в таких случаях врач, если он даже не находит никаких признаков болезни, все же не может сказать определенно, что его предшественник, державшийся другого мнения, непременно ошибся.

Но если эту самую иридоктомию, которую можно одинаково проделать и над больным и над здоровым глазом, произвели, то уже нет никакой возможности твердо установить, был катаракт или нет.

Вот на этих и подобных обстоятельствах доктор Вассори построил свой гнусный план.

Бесконечное число раз, особенно у женщин, констатировал он катаракт там, где было самое безвредное ослабление зрения для того, чтобы произвести операцию, которая, не доставляя ему больших хлопот, приносила хорошие деньги.

Тут-то, наконец, имел он в руках совершенно беззащитных, тут-то для грабежа не требовалось даже и признака мужества.

Видите, мастер Пернат, здесь выродившийся хищник был поставлен в такие условия жизни, где без оружия и без усилий он мог терзать свою жертву.

Ничего не ставя на карту! Вы понимаете? Ничем не рискуя!

Путем целого ряда лживых сообщений в специальных журналах доктор Вассори мог создать себе славу выдающегося специалиста. Он знал, как пустить пыль в глаза даже своим коллегам, которые были слишком простодушны и благородны, чтобы распознать его.

Естественным следствием был поток пациентов, которые все искали у него помощи.

Стоило только прийти к нему кому-нибудь с ничтожным ослаблением зрения и дать осмотреть себя, как доктор Вассори с гнусной планомерностью брался за дело.

Сперва он устраивал обычный врачебный опрос, причем чтобы на всякий случай потом все было скрыто, искусно отмечал те ответы, которые говорили за катаракт.

Он осторожно зондировал, не был ли раньше кем-либо поставлен диагноз.

В разговоре он вскользь замечал, что получил из-за границы настойчивое приглашение важного научного характера и завтра же должен ехать.

При исследовании глаза электрическим светом, которое он потом предпринимал, он намеренно причинял больному как можно больше боли.

Все преднамеренно! Все преднамеренно!

Когда исследование кончалось, и пациент осторожно задавал обычный вопрос, есть ли основание опасаться чего-нибудь серьезного, доктор Вассори делал свой первый ход.

Он усаживал больного против себя, минуту молчал, потом размеренным и звучным голосом произносил:

«Слепота на оба глаза уже в самое ближайшее время совершенно неизбежна!»

Следовавшая за этим сцена бывала ужасна.

Часто люди падали в обморок, плакали, кричали, в диком отчаянии бросались на пол.

Потерять зрение, значит потерять все.

Затем снова наступал обычный момент, несчастная жертва обнимала колени доктора Вассори и, умоляя, спрашивала, неужели на Божьем свете нет никакого средства помочь. Тогда бестия делала второй ход и сама обращалась в того бога, который призван помочь.

Все, все в мире, майстер Пернат, игра в шахматы!

Немедленная операция, говорил задумчиво доктор Вассори, – единственное, что, вероятно, может спасти. И с диким, жадным тщеславием, которое вдруг на него находило, он раздражался потоком красноречивых описаний разных случаев, из которых каждый имел изумительно много общего с настоящим – какое множество больных обязано ему одному сохранением зрения! И дальше в таком же роде.

Его опьяняло сознание, что его считают каким-то высшим существом, в руках которого находится счастье и горе людей.

Беспомощная жертва сидела с сердцем, полным жгучих вопросов, совершенно разбитая, в поту, и не решалась прервать его, страшась разгневать единственного, имеющего силу помочь.

И заявлением, что, к сожалению, он сможет приступить к операции только через несколько месяцев, когда он вернется из своей поездки, доктор Вассори кончал свою речь.

Надо надеяться – в таких случаях всегда надо надеяться на лучшее – будет еще и тогда не поздно, говорил он.

Конечно, больной вскакивал в ужасе, говорил, что он ни в коем случае не хочет ждать ни одного дня, со слезами умолял порекомендовать другого окулиста, который мог бы произвести подобную операцию.

Здесь наступал момент, когда доктор Вассори наносил решительный удар.

Он ходил в глубоком раздумье по комнате, досадливо морщил свой лоб и, наконец, сокрушенно заявлял, что обратиться к *другому* врачу значит непременно подвергнуть глаза вторичному освещению электрической лампой, а это из-за резкости лучей – пациент сам знает уже, как это болезненно – может подействовать роковым образом.

Другому врачу, не говоря уже о том, что большинство из них не имеет достаточного опыта в иридоэктомии, придется прежде, чем приступить к хирургическому вмешательству, произвести новое исследование, но не иначе, как спустя некоторое время, чтобы дать оправиться нервам глаз.

Харусек сжал кулаки.

– Это мы называем в шахматной игре вынужденным ходом, милый майстер Пернат. – То, что дальше следует, опять вынужденный ход – один за другим.

Полубезумев от отчаяния, пациент начинает заклинять доктора Вассори сжалиться вад ним, отложить поездку хотя бы на один день и лично сделать операцию. Ведь здесь идет речь больше, чем о близкой смерти. Ужасный, мучительный страх каждое мгновение сознавать, что должен ослепнуть – это ведь самое ужасное, что может быть на свете.

И чем больше изверг артачился и плакался, что отсрочка в его отъезде может принести ему неисчислимы убытки, тем большую сумму добровольно предлагал пациент.

Когда сумма казалась доктору Вассори достаточно высокой, он сдавался, и непременно в тот же день, раньше чем какой-нибудь случай мог бы расстроить его план, наносил обоим здоровым глазам несчастного непоправимый ущерб, вызывая постоянное чувство помутнения зрения, которое должно было обратить жизнь в непрерывную муку. Следы же преступления были раз и навсегда замечены.

Подобными операциями над здоровыми глазами доктор Вассори не только увеличивал свою славу выдающегося врача, умеющего приостановить грозящую слепоту, но одновременно удовлетворял свою безмерную страсть к деньгам и улаживал честолюбие, когда недогадливые, пострадавшие телом и деньгами, жертвы смотрели на него, как на благодетеля, и называли спасителем.

Только человек, который всеми корнями всосался в гетто, в его бесчисленные, невидимые, но необоримые источники, который с детства выучился караулить как паук, который знал в городе каждого, разгадывал до подробностей все взаимоотношения, материальное положение окружающих, только такой – полуясновидящий, как можно было его назвать, мог из года в год совершать такие гнусности.

И не будь я, он до сих пор практиковал бы свое ремесло, практиковал бы до глубокой старости, чтобы, наконец, маститым патриархом в кругу близких, окруженным великими почестями – блестящий пример для грядущих поколений – наслаждаться вечером жизни, пока, наконец, и его не взяла бы кондрашка.

Но я тоже вырос в гетто, кровь моя тоже пропитана атмосферой адской хитрости; вот почему я смог поставить ему западню, невидимо подготовить ему гибель, подобно молнии, ударившей с ясного неба.

Доктор Савиоли, молодой немецкий врач, приобрел славу разоблачителя – я его подсунул, подбирал улику к улике, пока прокурор не наложил свою руку на доктора Вассори.

Но тут бестия прибегла к самоубийству! Да будет благословен этот час!

Точно мой двойник стоял возле него и водил его рукой – он лишил себя жизни при помощи того пузырька амилнитрита, который я нарочно при случае оставил в его кабинете, когда я принудил его поставить и мне фальшивый диагноз катаракта – оставил нарочно, с пламенным желанием, чтоб именно этот амилнитрит нанес ему последний удар.

В городе говорили, что с ним случился удар.

Амилнитрит при вдыхании убивает, как удар. Однако, долго такой слух не держался.

Харусек вдруг посмотрел вокруг бессмысленно, как будто потерявшись в разрешении глубочайшей проблемы, затем двинул плечом в ту сторону, где находился лоток Аарона Вассертрума.

– Теперь он один, – прошептал он, – совершенно один со своей страстью и – и – и – со своею восковой куклой!

Сердце билось во мне лихорадочно.

С испугом я взглянул на Харусека.

Он сошел с ума? Это должно быть бред заставляет его выдумывать такие вещи.

Безусловно, безусловно! Он все это выдумал, все это ему приснилось.

Не может быть, чтоб были правдой эти ужасы, рассказанные им про окулиста. У него чахотка, и в мозгу у него призраки смерти.

Я хотел успокоить его несколькими шутивными словами, сообщить его мыслям более дружественное направление.

Но не успел я подобрать слово, в голове моей, как молния, мелькнуло лицо Вассертрума с рассеченной верхней губой, заглянувшее тогда круглыми рыбьими глазами в мою комнату через поднятую дверь.

Доктор Савиоли! Доктор Савиоли? Да, да, это было имя молодого господина, сообщенное мне шепотом марионеточным актером Цваком, имя того самого богатого жильца, который снял у него ателье.

«Доктор Савиоли!» Точно криком раздалось это у меня внутри.

Целый ряд туманных картин пронесся через мою душу, с ужасными предположениями, овладевшими мною.

Я хотел спросить Харусека, в ужасе рассказать ему немедленно то, что я тогда пережил, но им овладел жестокий приступ кашля, едва не сбросивший его с ног. Я мог только наблюдать, как он, с трудом, держась рукой за стену, скрылся в дожде, кивнув мне головой небрежно, на прощание.

Да, да, он прав, он не бредил, почувствовал я; непостижимый дух греха бродит по этим улицам днем и ночью и ищет воплощения.

Он висит в воздухе, но мы не видим его. Он вдруг внедряется в какую-нибудь человеческую душу – мы и не знаем этого – то тут, то там – и прежде, чем мы можем опомниться, он уже теряет форму, и все исчезает.

И только смутные вести о каком-нибудь ужасном происшествии доходят до нас.

В одно мгновение я постиг эти загадочные существа, жившие вокруг меня, в их сокровенной сущности: они безвольно несутся сквозь бытие, оживляемые невидимым магнитным потоком – совсем так, как недавно проплыл в грязном дождевом потоке подвенечный букет.

У меня было такое чувство, будто все дома смотрели на меня своими предательскими лицами, исполненными беспредметной злобы. Ворота – раскрытые черные пасти, из которых вырваны языки, горла, которые ежесекундно могут испустить пронзительный крик, такой прои+зительный и враждебный, что ужас проникнет до мозга костей.

Что же, в конце концов, сказал студент о старьевщике? Я шепотом повторил его слова: «Аарон Вассертрум теперь один со своей страстью и – со своей восковой куклой».

Что подразумевает он под восковой куклой?

Это должно быть какое-нибудь иносказание, успокаивал я себя, одна из тех болезненных метафор, которыми он обычно огорошивает, которых никто не понимает, но которые, неожиданно потом воскресая, могут испугать человека, как предмет очень необычной формы, если на него внезапно упадет поток яркого света.

Я глубоко вздохнул, чтобы успокоить себя и стряхнуть с себя то ужасное впечатление, которое произвел на меня рассказ Харусека.

Я стал всматриваться пристальнее в людей, стоявших рядом со мной в воротах. Рядом со мной стоял теперь толстый старик. Тот самый, который прежде так отвратительно смеялся.

На нем был черный сюртук и перчатки, он пристально смотрел выпученными глазами под арку ворот противоположного дома.

Его гладко выбритое широкое лицо с вульгарными чертами тряслось от волнения.

Я невольно следил за его взглядом и заметил, что он как заколдованный, остановился на Розине, с обычной улыбкой на губах стоящей по ту сторону улицы.

Старик старался подать ей знак, и я видел, что она заметила это, но притворялась, что не понимает.

Наконец старик больше не выдержал; он на цыпочках перешел на ту сторону, как большой черный резиновый мяч, с забавной эластичностью походки.

Его, по-видимому, здесь знали, потому что с разных сторон я услышал замечания, относившиеся к нему. Сзади меня какой-то босяк, с красным вязаным платком на шее, в синей военной фуражке, с виргинией за ухом, оскалив зубы, сделал гримасу, смысла которой я не уразумел.

Я понял только, что в еврейском квартале старика называли «масоном»; на здешнем языке этим прозвищем награждали тех, кто связывался с девочками-подростками и в силу интимных отношений с полицией был свободен от каких бы то ни было взысканий.

Лица Розины и старика исчезли в темноте двора.

V. Пунш

Мы открыли окно, чтобы рассеялся табачный дым из моей комнатки.

Холодный ночной ветер ворвался в комнату, захватил висящее пальто и привел его в движение.

– Почтенный головной убор Прокопа хочет улететь, – сказал Цвак, указывая на большую шляпу музыканта, широкие поля которой колыхались, как черные крылья.

Иосуа Прокоп весело подмигнул.

– Он хочет – сказал Прокоп, – он хочет, вероятно...

– Он хочет к Лойзичек на танцы, – вставил слово Фрисландер.

Прокоп рассмеялся и начал рукой отбивать такт к шуму зимнего ветра над крышей.

Затем он взял мою старую разбитую гитару со стены и, делая вид, что перебирает ее порванные струны, запел визгливым фальцетом прекрасную песенку на воровском жаргоне:

An Beid-el von Eisen recht alt
An Stran-zen net gar a so kalt
Messining, a Raucherl und Rohn
Und immerrz nur putz-en...

– Как он ловко овладел языком негодяев, – громко засмеялся Фрисландер и затем подхватил:

Und stok-en sich Aufzug und Pfiff
Und schmahern an eisernes G'sueff iuch, —
Und Handschuhkren, Harom net san...

– Эту забавную песенку распевает гнусавым голосом у Лойзичек каждый вечер помешанный Нафталий Шафранек в зеленых очках, а нарумяненная кукла играет на гармонике, визгливо подбрасывая ему слова, – объяснил мне Цвак. – Вы должны как-нибудь разок сходить с

нами в тот кабачок, мастер Пернат. Может быть, погода, вот как покончим с пуншем, – что скажете? В честь вашего сегодняшнего дня рождения.

– Да, да, пойдете потом с нами, – подхватил Прокоп и захлопнул окно. – Есть на что посмотреть.

Затем мы принялись за горячий пунш и погрузились в размышления.

Фрисландер вытаскивал марионетку.

– Вы нас совершенно отрезали от внешнего мира, Иосуа, – нарушил молчание Цвак, – с тех пор, как вы закрыли окно, никто не произнес ни слова.

– Я думал о том, как раньше колыхалось пальто. Так странно, когда ветер играет безжизненными вещами, – быстро ответил Прокоп, как бы со своей стороны извиняясь за молчание. – Так необычно смотрят мертвые предметы, когда они вдруг начинают шевелиться. Разве нет?.. Однажды я видел, как на пустынной площади большие обрывки бумаги в диком остервенении кружились и гнали друг друга, точно сражаясь, тогда как я не чувствовал никакого ветра, будучи прикрыт домом. Через мгновение они как будто успокоились, но вдруг опять напало на них неистовое ожесточение, и они опять погнались в бессмысленной ярости, – забились все вместе за поворотом улицы, чтобы снова исступленно оторваться друг от друга и исчезнуть, наконец, за углом.

Только один толстый газетный лист не мог следовать за ними, он остался на мостовой, бился в неистовстве, задыхаясь и ловя воздух.

Смутное подозрение явилось тогда у меня: что, если мы, живые существа, являемся чем-то очень похожим на эти бумажные обрывки? Разве не может быть, что невидимый, непостижимый «ветер» бросает и нас то туда, то сюда, определяя наши поступки, тогда как мы, в нашем простодушии, полагаем, что мы действуем по своей свободной воле?

Что если жизнь в нас не что иное, как таинственный вихрь?! Тот самый ветер, о котором говорится в Библии: знаешь ли ты, откуда он приходит и куда он стремится?.. Разве не снится нам порою, что мы погружаемся в глубокую воду и ловим там серебряных рыбок – в действительности же всего только холодный ветерок дохнул нам на руку?

– Прокоп, вы говорите словами Перната. Что это с вами? – сказал Цвак и недоверчиво посмотрел на музыканта.

– Это история с книгой «Ibbug» так его настроила. Ее только что рассказывали (жаль, что вы так поздно пришли и не слышали ее), – сказал Фрисландер.

– История с книгой?

– Собственно, про человека, который принес книгу и имел странный вид. Пернат не знает, ни как этого человека зовут, ни где он живет, ни чего он хочет; и хотя вид у него был необычайный, его никак нельзя описать.

Цвак насторожился.

– Это чрезвычайно интересно, – сказал он после некоторой паузы. – Незнакомец – без бороды и с косыми глазами?

– Кажется, – ответил я, – то-есть, собственно я... я... в этом уверен. Вы его знаете?

Марионеточный актер покачал головой:

– Он только напоминает мне Голема.

Художник Фрисландер опустил свой резец.

– Голема? Я уже так много слышал о нем. Вы знаете что-нибудь о Големе, Цвак?

– Кто может сказать, что он что-нибудь *знает* о Големе, – ответил Цвак, пожав плечами. – Он живет в легенде, пока на улице не начинаются события, которые снова делают его живым. Уже давно все говорят о нем, и слухи разрастаются в нечто грандиозное. Они становятся до такой степени преувеличенными и раздутыми, что в конце концов, гибнут от собственной неправдоподобности. Начало истории восходит, говорят, к XVII веку. Пользуясь утерянными теперь указаниями каббалы, один раввин сделал искусственного человека, так называемого Голема, чтобы тот помогал ему звонить в синагогальные колокола и исполнял всякую черную работу.

Однако настоящего человека из него не получилось, только смутная, полусознательная жизнь тлела в нем. Да и то говорят, только днем и поскольку у него во рту торчала магическая записочка втиснутая в зубы, эта записочка стягивала к нему свободные таинственные силы вселенной.

И когда однажды перед вечерней молитвой раввин забыл вынуть у Голема изо рта талисман, тот впал в бешенство, бросился по темным

улицам, уничтожая все на пути.

Пока раввин не кинулся вслед за ним и не вырвал талисмана.

Тогда создание это упало бездыханным. От него не осталось ничего, кроме небольшого глиняного чурбана, который и теперь еще показывают в Старой синагоге.

– Этот же раввин был однажды приглашен к императору во дворец, чтобы вызвать видения умерших, – вставил Прокоп. – Современные исследователи утверждают, что он пользовался для этого волшебным фонарем.

– Разумеется, нет такого нелепого объяснения, которое не находило бы одобрения у современных ученых, – невозмутимо продолжал Цвак. – Волшебный фонарь! Как будто император Рудольф, увлекавшийся всю жизнь подобными вещами, не заметил бы с первого взгляда такого грубого обмана. Я, разумеется, не знаю, на чем покоится легенда о Големе, но я совершенно уверен в том, что какое-то существо, которое не может умереть, живет в этой части города и связано с ней. Из поколения в поколение жили здесь мои предки, и вряд ли у кого-либо хранится и в мозгах, и в унаследованных воспоминаниях, столько периодических воскресений Голема, сколько у меня.

Цвак внезапно смолк, и все почувствовали, как его мысль погружается в прошлое.

Он сидел у стола, подперев голову и при свете лампы его розовые, совсем молодые щеки странно дисгармонировали с его седыми волосами, и я невольно сравнивал его черты с маскообразными лицами марионеток, которые он так часто показывал нам.

Странно, как этот старик походил на них всех.

То же выражение и те же черты лица.

Есть на свете предметы, подумал я, которые не могут обойтись друг без друга. Передо мною проносится простая судьба Цвака, и мне кажется загадочным и чудовищным, что такой человек, как он, получивший лучшее воспитание, чем его предки, имевший перед собой карьеру актера, вдруг вернулся назад к плохонькому марионеточному ящику. И вот снова он таскается по ярмаркам и заставляет тех же кукол, которые доставляли скудное пропитание его предкам, выделывать жесты и показывать мертвые сцены.

Он не может расстаться с ними, подумал я, они живут его жизнью, и когда он был вдали от них, они превратились в его мысли, поселились в его мозгу, не давали ему ни отдыха, ни покоя, пока он не вернулся к ним опять. Поэтому он так любовно обращается с ними теперь и одевает их в блестящую мишуру.

– Не расскажете ли вы нам еще что-нибудь, Цвак? – попросил Прокоп старика, вопросительно посмотрев на Фрисландера и на меня, желаем ли мы того же.

– Я не знаю, с чего начать, – задумчиво сказал старик. – Историю о Големе нелегко передать. Это как Пернат говорил: знает точно, каков был незнакомец, но все же не может его описать. Приблизительно каждые тридцать три года на наших улицах повторяется событие, которое не имеет в себе ничего особенно волнующего, но которое все же распространяет ужас, не находящий ни оправдания, ни объяснения.

Неизменно каждый раз совершенно чужой человек, безбородый, с желтым лицом монгольского типа, в старинной выцветшей одежде, идет по направлению от Старосинагогальной улицы – равномерной и странно прерывистой походкой, как будто он каждую секунду готов упасть – идет по еврейскому кварталу и вдруг – становится невидим.

Обычно он сворачивает в какой-нибудь переулок и исчезает.

Одни говорят, что он описывает круг и возвращается к тому месту, откуда вышел: к одному старенькому дому возле синагоги.

Другие с перепуга утверждают, что видели его идущим из-за угла. Он совершенно ясно шел им навстречу, и тем не менее становился все меньше и меньше, и, наконец, совершенно исчезал, как исчезают люди, теряясь вдали.

Шестьдесят шесть лет тому назад впечатление, вызванное им, было, по-видимому, особенно глубоко, потому что помню – я был тогда еще совсем мальчиком, – как сверху до низу обыскали тогда здание на Старосинагогальной улице.

И было твердо установлено, что в этом доме действительно существует комната с решетчатыми окнами, без всякого выхода.

На всех окнах повесили белье, чтобы сделать это очевидным с улицы. Этим все дело и было обнаружено.

Так как пробраться в нее было никак нельзя, один человек спустился по веревке с крыши, чтобы заглянуть туда. Однако, едва он достиг окна, канат оборвался, и несчастный, упав, разбился о

мостовую. И когда впоследствии повторили попытку, то мнения об этом окне так разошлись, что о нем перестали говорить.

Я лично встретил Голема первый раз в жизни приблизительно тридцать три года тому назад.

Он встретился мне под воротами, и мы почти коснулись друг друга.

Я и теперь еще не могу постичь, что произошло тогда со мной. Ведь не несет же в себе человек постоянно, изо дня в день, ожидание встретиться с Големом.

Но в тот момент, прежде чем я мог заметить его, что-то во мне явственно вскрикнуло: Голем! И в то же мгновение кто-то мелькнул из темноты ворот и прошел мимо меня. Спустя секунду меня окружила толпа бледных возбужденных лиц, которые осыпали меня вопросами, не видал ли я его.

И когда я им отвечал, я чувствовал, что мой язык освобождается от какого-то оцепенения, которого раньше я не ощущал.

Я был форменным образом поражен тем, что могу двигаться, и для меня стало совершенно ясно, что хотя бы самый короткий промежуток времени – на момент одного удара сердца – я находился в столбняке.

Обо всем этом я впоследствии много и долго думал, и кажется мне, я подойду всего ближе к истине, если скажу: в жизни каждого поколения через еврейский квартал с быстротой молнии проходит однажды психическая эпидемия, устремляет души к какой-то непостижимой цели, создает мираж, облик какого-то своеобразного существа, которое жило здесь много сотен лет тому назад и теперь стремится к новому воплощению.

Может быть, оно всегда с нами, и мы не воспринимаем его. Ведь не слышим же мы звука камертона, прежде чем он не коснется дерева и не вызовет вибрации.

Может быть, это нечто вроде какого-то душевного порождения, без участия сознания – порождения, возникающего наподобие кристалла по вечным законам из бесформенной массы.

Кто знает?

В душные дни электрическое напряжение достигает последних пределов и рождает наконец молнию – может быть, постоянное накопление неизменных мыслей, отравляющих воздух гетто, тоже

приводит к внезапному разряжению – душевному взрыву, бросающему наше сонное сознание к свету дня, чтобы проявиться то молнией в природе, то призраком, который своим обличьем, походкой и видом обнаруживает в каждом символ массовой души, если только верно истолковать тайный язык внешних форм.

И подобно тому, как некоторые явления предвещают удар молнии, так и здесь определенные страшные предзнаменования говорят заранее о грозном вторжении фантома в реальный мир. Отвалившаяся штукатурка старой стены принимает образ шагающего человека, и снежные узоры на окне принимают вид застывших лиц. Песок с крыши кажется падающим не так, как он падает всегда, и будит у подозрительного наблюдателя предположение, что невидимый и скрывающийся от света разумный дух сбрасывает его вниз и тешится в тайных попытках вызывать разные странные фигуры. Смотрит глаз на однотонное строение, или на неровности кожи, и вдруг нами овладевает невеселый дар повсюду видеть грозящие знаменательные формы, принимающие в наших сновидениях чудовищные размеры. Сквозь все эти призрачные попытки мысленных скоплений, проникая через стены будничной жизни, тянется краской нитью мучительное сознание, что наша внутренняя сущность преднамеренно и против нашей воли кем-то высасывается, чтобы сделать пластичным образ фантома.

Когда я слышал рассказ Перната о том, что ему повстречался человек без бороды и с косо поставленными глазами, передо мной предстал Голем таким, каким я его тогда видел.

Как выросший из земли, стоял он предо мною.

И какой-то смутный страх овладевает мною на мгновение: вот-вот явится что-то необъяснимое, тот самый страх, что испытал я когда-то в детстве, когда первое призрачное очертание Голема бросило свою тень. Это было шестьдесят шесть лет тому назад и сливается с вечером, когда пришел в гости жених моей сестры, и мы все должны были назначить день свадьбы. Мы тогда лили олово, играя. Я стоял с открытым ртом и не понимал, что это означает. В моем беспорядочном детском воображении я приводил это в связь с Големом, о котором мне дедушка часто рассказывал, и мне все казалось, что ежесекундно должна открыться дверь и незнакомец должен войти.

Сестра вылила ложку расплавленного олова в сосуд с водой, весело посмеиваясь моему явному возбуждению.

Морщинистыми, дрожащими руками дед вынул блестящий обрывок олова и поднес к свету. Сейчас же возникло всеобщее волнение. Все сразу заговорили, громко; я хотел протиснуться вперед, но меня оттолкнули.

Впоследствии, когда я стал старше, отец рассказывал мне, что расплавленный кусок металла застыл в виде маленькой, совершенно отчетливой головки – гладкой и круглой, точно вылитой по модели и до такой степени схожей с чертами Голема, что все испугались.

Я часто беседовал с архивариусом Шемаей Гиллелем, который хранит реликвии Староновой синагоги, в том числе и некий глиняный чурбан времен императора Рудольфа. Гиллель занимался каббалой и думает, что эта глыба земли с членами человеческого тела, может быть, не что иное, как древнее предзнаменование, совсем как свинцовая головка в рассказанном случае. А незнакомец, который тут бродит, вернее всего представляет собою фантастический или мысленный образ, который средневековый раввин оживил своею мыслью раньше, чем он мог облечь его плотью. И вот, через правильные промежутки времени, при тех же гороскопах, при которых он был создан, Голем возвращается, мучимый жаждой материальной жизни.

Покойная жена Гиллеля тоже видела Голема лицом к лицу и почувствовала, подобно мне, что была в оцепенении, пока это загадочное существо держалось вблизи.

Она была вполне уверена в том, что это могла быть только ее собственная душа. Выйдя из тела, она стала на мгновение против нее и обликом чужого существа заглянула ей в лицо.

Несмотря на отчаянный ужас, овладевший ею тогда, она ни на секунду не потеряла уверенности в том, что тот другой мог быть только частицей ее собственного духа.

– Невероятно, – пробормотал Прокоп, глубоко задумавшись. Художник Фрисландер казался тоже погруженным в размышление.

Постучались в дверь, и старуха, приносящая мне вечером воду и прислуживающая мне вообще, вошла, поставила глиняный кувшин на пол и молча вышла.

Мы все взглянули на нее и, как бы проснувшись, осмотрелись, но еще долго никто не произносил ни слова.

Как будто вместе со старушкой в комнату проникло что-то новое, к чему нужно было еще привыкнуть.

– Да! У рыжей Розины тоже личико, от которого не скоро освободишься; из всех уголков и закоулков оно все появляется перед вами, – вдруг заметил Цвак, без всякого повода. – Эту застывшую наглуую улыбку я знаю всю жизнь. Сперва бабушка, потом мамаша!.. И все то же лицо... Никакой иной черточки! Все то же имя Розина... Все это воскресение одной Розины за другой...

– Разве Розина не дочь старьевщика Аарона Вассертрума? – спросил я.

– Так говорят, – ответил Цвак, – но у Аарона Вассертрума не один сын и не одна дочь, о которых никто ничего не знает. Относительно Розининой матери тоже не знали, кто ее отец, и даже, что с ней стало. Пятнадцати лет она родила ребенка, и с тех пор ее не видали. Ее исчезновение, насколько я могу припомнить, связывали с одним убийством, происшедшим из-за нее в этом доме.

Она кружила тогда, как нынче ее дочь, головы подросткам. Один из них еще жив, – я встречаю его часто, – не помню только имени. Другие вскоре умерли, и я думаю, что это она свела их преждевременно в могилу. Вообще, из того времени я припоминаю только отдельные эпизоды, которые бледными образами живут в моей памяти. Был тогда здесь один полупомешанный. Он ходил по ночам из кабака в кабак и за пару крейцеров вырезывал гостям силуэты из черной бумаги. А когда его напавали, он впадал в невыразимую тоску и со слезами и рыданиями вырезывал, не переставая, все один и тот же острый девичий профиль, пока не кончался весь запас его бумаги.

Я уже забыл теперь, из чего тогда заключали, что он еще почти ребенком так сильно любил какую-то Розину, – очевидно, бабушку этой Розины, – что потерял рассудок.

Соображая годы, я вижу, что это никто иная, как бабушка нашей Розивы.

Цвак замолчал и откинулся назад.

Судьба в этом доме идет по кругу и всегда возвращается к той же точке, пробежало у меня в голове, и одновременно перед моим взором

возникла отвратительная картина, когда-то мною виденная: кошка с вырезанной половиной мозга кружится по земле.

– Теперь – голова! – услышал я вдруг громкий голос художника Фрисландера.

Он вынул из кармана круглый кусок дерева и начал вытачивать.

Тяжелая усталость смыкала мои глаза, и я отодвинул свой стул в темную глубину комнаты.

Вода для пунша кипела в котле, и Иосуа Прокоп снова наполнил стаканы. Тихо, тихо доносились звуки музыки через закрытое окно. Иногда они совсем замирали, затем снова оживали – смотря по тому, заносил ли их к нам ветер с улицы, или терял по дороге.

Не хочу ли я с ним чокнуться? – спросил меня через минуту музыкант. Я ничего не ответил. У меня настолько исчезло желание двигаться, что мне не пришло даже в голову шевельнуть губами.

Мне казалось, что я сплю, так крепок был внутренний покой, овладевший мной. И я должен был щуриться на блестящий ножик Фрисландера, без устали отрезавший от дерева маленькие кусочки, чтоб удостовериться в том, что я бодрствую.

Далеко где-то гудел голос Цвака и продолжал рассказывать разные странные истории про марионеток и пестрые сказки, которые он придумывал для своих кукольных представлений.

Шла речь и о докторе Савиоли и о знатной даме, жене одного аристократа, которая тайно приходит в ателье в гости к Савиоли.

И снова я мысленно увидел издевающуюся, торжествующую физиономию Аарона Вассертрума.

Не поделиться ли с Цваком тем, подумал было я, что тогда произошло. Но мне показалось это незначительным и несостоящим труда. Да я и знал, что у меня пропадет охота при первой же попытке заговорить.

Вдруг все трое у стола внимательно посмотрели на меня, и Прокоп громко сказал: «Он заснул». Сказал он это так громко, что это прозвучало почти как вопрос.

Они продолжали разговаривать, понизив голос, и я понял, что речь идет обо мне.

Нож Фрисландера плясал в его руках, ловил свет от лампы и бросал блестящее отражение мне в глаза.

Мне послышалось слово: «сойти с ума», – и я стал прислушиваться к продолжавшейся беседе.

– Таких вопросов, как Голем, при Пернате не следует касаться, – сказал с упреком Иосуа Прокоп. – Когда он раньше рассказывал о книге «Ibbug», мы молчали и ни о чем не спрашивали – держу пари, что это ему все приснилось.

Цвак кивнул головой. – Вы совершенно правы. Это – как если зайти с огнем в запыленную комнату, где потолок и стены увешаны истлевшими коврами, а пол по колено покрыт трухой прошлого. Стоит коснуться чего-нибудь, и все в огне.

– Долго ли Пернат был в сумасшедшем доме? Жаль его, ведь ему еще не более сорока лет, – сказал Фрисландер.

– Не знаю, я не имею никакого представления, откуда он родом и чем он занимался раньше; внешностью, стройной фигурой и острой бородкой он напоминает старого французского аристократа. Много, много лет тому назад один мой приятель, старый врач, просил меня, чтоб я принял некоторое участие в Пернате и подыскал ему небольшую квартиру на этих улицах, где никто не будет тревожить его и беспокоить расспросами о прошлом... – Цвак снова бросил на меня тревожный взгляд.

– С тех пор он и живет здесь, реставрирует старинные предметы и вырезывает камеи. Это его недурно устраивает. – Его счастье, что он, по-видимому, забыл все то, что связано с его сумасшествием. Только, ради Бога, никогда не спрашивайте его ни о чем, что могло бы разбудить в нем воспоминания о прошлом. Об этом неоднократно просил меня старый доктор! «Знаете, Цвак, говорил он мне всегда, у нас особый метод... мы с большим трудом, так сказать, замуровали его болезнь, хотел бы я так выразиться, как обводят забором злополучные места, с которыми связаны печальные воспоминания».

Слова марионеточного актера ударили меня, как нож ударяет беззащитное животное, и сжали мне сердце грубым, жестоким хватом.

Уже давно грызла меня какая-то неопределенная боль, какое-то подозрение, как будто что-то отнято у меня, как будто длинную часть моего жизненного пути я прошел, как лунатик, по краю бездны. И никогда не удавалось мне доискаться причины этой боли.

Теперь задача была разрешена, и это решение жгло меня невыносимо, как открытая рана.

Мое болезненное нежелание предаваться воспоминаниям о прошлых событиях, странный, время от времени повторяющийся сон, будто я блуждаю по дому с рядом недоступных мне комнат, тревожный *отпор моей памяти во всем, что касается моей юности* – всему этому вдруг нашлось страшное объяснение: я был сумасшедшим, меня загипнотизировали, заперли комнату, находившуюся в связи с покоями, созданными моим воображением, сделали меня безродным сиротой среди окружающей жизни.

Никаких надежд вернуть обратно утерянные воспоминания.

Пружины, приводящие в движение мои мысли и поступки, скрыты в каком-то ином, забытом бытии, – понял я, – никогда я не смогу узнать их: я – срезанное растение, побег, который растет из чужого корня. Да если бы мне и удалось добраться до входа в эту закрытую комнату, не попал ли бы я в руки призракам, которые заперты в ней.

История о Големе, только что рассказанная Цваком, пронеслась в моем уме, и я внезапно ощутил какую-то огромную, таинственную связь между легендарной комнатой без входа, в которой будто бы живет этот незнакомец, и моим многозначительным сном. Да, и у меня «оборвется веревка», если я попытаюсь заглянуть в закрытые решеткой окна моих глубин.

Странная связь становилась для меня все яснее и яснее, и заключала в себе нечто невыразимо пугающее.

Я чувствовал здесь явления непостижимые, привязанные друг к другу и бегущие, как слепые лошади, которые не знают, куда ведет их путь.

То же и в гетто: комната, пространство, куда никто не может найти входа, – загадочное существо, которое живет там и только изредка пробирается по улицам, наводя страх и ужас на людей.

Фрисландер все еще возился с головкой, и дерево скрипело под острым ножом.

Мне было больно слышать это, и я взглянул, скоро ли уже конец.

Головка поворачивалась в руках художника во все стороны, и казалось, что она обладает сознанием и ищет чего-то по всем углам.

Затем ее глаза надолго остановились на мне, – довольные тем, что наконец нашли меня.

Я, в свою очередь, не мог уже отвести глаз и, не мигая, смотрел на деревянное лицо.

На одну секунду нож художника остановился в поисках чего-то, потом решительно провел одну линию, и вдруг деревянная голова странным образом ожила.

Я узнал желтое лицо незнакомца, который приносил мне книгу.

Больше я ничего не мог различить, видение продолжалось только одну секунду, но я почувствовал, что мое сердце перестает биться и робко трепещет.

Но лицо это, как и тогда, запечатлелось во мне.

Я сам обратился в него, лежал на коленях Фрисландера и озирался кругом. Мои взоры блуждали по комнате, и чужая рука касалась моей головы. Затем я вдруг увидел возбужденное лицо Цвака и услышал его слова: Господи, да ведь это Голем!

Произошла короткая борьба, у Фрисландера хотели отнять силой фигурку, но он оборонялся, и смеясь закричал:

– Чего вы хотите, – она мне совсем не удалась. – Он вырвался, открыл окно и швырнул фигурку на улицу.

Тут я потерял сознание и погрузился в глубокую тьму, пронизанную золотыми блестящими нитями. И когда я, после долгого, как мне показалось, промежутка времени, очнулся, только тогда я услышал стук дерева о мостовую.

– Вы так крепко спали, что не чувствовали, как мы трясли вас, – сказал мне Иосуа Прокоп, – пунш кончен, и вы все прозевали.

Жгучая боль, причиненная всем, что я слышал, овладела мною опять, и я хотел крикнуть, что мне вовсе не снилось то, что я рассказал им о книге «Ibbur», что я могу вынуть ее из шкатулки и показать им.

Но эти мысли не воплотились в слова и не повлияли на настроение гостей, готовых уже разойтись.

Цвак сунул мне насильно пальто и сказал, смеясь:

– Идемте с нами к Лойзичек, майстер Пернат, это вас освежит.

VI. Ночь

Цвак помимо моей воли свел меня с лестницы.

Я чувствовал, как запах тумана, который проникал с улицы в дом, становился все сильнее и сильнее. Иосуа Прокоп и Фрисландер ушли на несколько шагов вперед, и слышно было, как они разговаривали у ворот.

«Она, очевидно, прямо в водосток попала. Что за чертовщина!» Мы вышли на улицу, и я видел, как Прокоп нагнулся и искал марионетку. «Я очень рад, что ты не можешь найти этой глупой головы», – ворчал Фрисландер. Он прислонился к стене, и лицо его то ярко освещалось, то скрывалось через короткие промежутки времени, когда он затягивался из своей трубки.

Прокоп сделал быстрое предупреждающее движение рукой и согнулся еще ниже. Он почти опустился на колени на мостовую.

– Тише! Вы ничего не слышите?

Мы подошли к нему. Он молча указал на решетку водостока и, насторожившись, приложил руку к уху. Минуту мы все неподвижно стояли и прислушивались.

Ничего.

– Что это было? – прошептал, наконец, старый марионеточный актер, но Прокоп быстро схватил его за руку.

Одно мгновение – миг сердцебиения, – мне казалось, что там внизу чья-то рука ударила по железному листу – едва слышно.

Когда я подумал об этом спустя секунду, все уже прошло, только в моей груди звучало еще эхо и медленно расплывалось в неопределенное чувство страха.

Шаги, послышавшиеся по улице, рассеяли впечатление.

– Идемте же, – чего тут стоять, – сказал Фрисландер.

Мы пошли вдоль ряда домов.

Прокоп нехотя пошел за нами.

– Я готов голову дать на отсечение, что там раздался чей-то предсмертный крик.

Никто из нас не ответил ему, но я почувствовал, что какой-то темный страх сковал нам язык.

Через некоторое время мы стояли перед окном кабачка с красными зававесками.

САЛОН ЛОЙЗИЧЕК

Севодни большой Канцерт

Это было начертано на картоне, покрытом выцветшими женскими портретами.

Не успел еще Цвак дотронуться до ручки двери, как она отворилась внутрь, и дюжий парень, с напомаженными черными волосами, без воротничка, с зеленым шелковым галстуком на голой шее, в жилетке, украшенной связкой свиных зубов, встретил нас поклоном.

– Да, да – вот это гости... Пане Шафранек живо – туш! – приветствовал он нас, оборачиваясь в переполненный зал.

Дребезжащий звук – точно по фортепианным струнам пробежала крыса, послышался в ответ.

– Да, да, вот это гости, вот это гости, это видно сразу, – все бормотал толстяк, придерживая нас за рукава:

– Да, да, сегодня вся здешняя аристократия собралась у меня, – торжествующе отвечал он на удивленное выражение Фрисландера. В глубине кабака, на чем-то вроде эстрады отделенной перилами и лесенкой в две ступеньки от публики, мелькнули два приличных молодых человека во фраках.

Клубы едкого табачного дыма висели над столами позади которых длинные деревянные скамейки вдоль стен были заняты разными оборвышами: тут были проститутки, нечесанные, грязные, босые, с упругими грудями, едва прикрытыми безобразного цвета платками; рядом с ними сутенеры в синих солдатских фуражках, с сигарою за ухом; торговцы скотом с волосатыми кулаками и неуклюжими пальцами, у которых каждое движение изобличало их вульгарную низость; разгульные кельнера с нахальными глазами, прыщеватые приказчики в клетчатых брюках.

– Я поставлю кругом испанские ширмы, чтобы вам никто не мешал, – проскрипел жирный голос толстяка и тотчас же возле углового столика, за которым мы уселись, появились ширмы, оклеенные маленькими танцующими китайцами.

При резких звуках арфы шум в комнате стих. На секунду воцарилась ритмическая пауза.

Мертвая тишина, точно все затаили дыхание. До жути ясно стало слышно, как железные газовые рожки с шипением изрыгали из своих уст плоские сердцеподобные огни... но музыка вновь нахлынула на этот шум и заглушила его.

Неожиданно из табачного дыма выросли передо мной две странные фигуры.

С длинной, вьющейся седой бородой пророка, в черной шелковой ермолке, типа тех, что носят старые еврейские патриархи, на лысой голове, со слепыми молочного-синего цвета стеклянными глазами, неподвижно устремленными к потолку – сидел там старик, безмолвно шевелил губами и жесткими пальцами, точно когтями ястреба, перебирал струны арфы. Рядом с ним, в лоснящемся от жира, черном платье из тафты, с разными блестками и крестиками на груди и на руках, воплощенный образ лицемерной мещанской морали – рыхлая женщина с гармоникой на коленях.

Дикие звуки вырывались из инструментов, затем мелодия стихла, став простым аккомпанементом.

Старик несколько раз глотнул воздух, раскрыл рот так широко, что можно было видеть черные корни зубов. Медленно, сопровождаемый своеобразным еврейским хрипом, выполз из груди его дикий бас.

Кру-у-глые, си-ни-е звезды...

«Ри-ти-тит», пищала в это время женская фигура, сжимая за тем немедленно губы, как если бы она проговорилась.

«Круглые, синие звезды, Пряники очень люблю „Ри-ти-тит“.

Красная, синяя борода Разные звезды»...

«Рити-ти-тит».

Начались танцы.

– Это песенка о «хомециген борху»,^[1] – объяснил нам с улыбкой кукольный актер, тихо отбивая такт оловянной ложкой, которая зачем-то была приделана на цепочке к столу. – Лет сто тому назад, а может

быть и больше, два подмастерья-булочника: Красная борода и Зеленая борода – вечером в «шабес-гагодел»^[2] отравили хлеб-звезды и пряники, – чтобы вызвать всеобщую гибель в еврейском городе, но «мешорес» – служба общины, каким-то божественным прозрением, своевременно узнал об этом и передал обоих преступников в руки властей. В память чудесного избавления от смертной опасности и сочинили тогда «ламдоним» и «бохерлах»^[3] странную песенку, которую мы здесь слышим под аккомпанемент кабацкой кадрили, «Ри-ти-тит-Ри-ти-тит».

«Круглые, синие звезды...» все глуше и фанатичнее раздавалось завывание старика.

Вдруг мелодия, смешавшись, перешла постепенно в ритм чешского «шлопака»

– медлительного и замирающего танца, во время которого парочки крепко прижимались друг к другу потными щеками.

– Отлично. Браво. Хватай! лови, гоп! – крикнул арфисту с эстрады стройный молодой человек во фраке, с моноклем в глазу, полез в карман жилетки и бросил серебряную монету. Но не попал в цель: я видел, как она сверкнула над танцующими и вдруг исчезла. Какой-то босяк – его лицо показалось мне очень знакомым, кажется, это был тот самый, который недавно во время дождя стоял возле Харусека – вытащил руку из-под передника своей партнерши, где все время держал ее, – один взмах в воздухе, – с обезьяньей ловкостью, без пропуска единого такта музыки, и монета была поймана. Ни один мускул не дрогнул на лице парня, только две-три ближайšie пары тихо усмехнулись.

– Вероятно, из *батальона*, судя по ловкости, – смеясь, заметил Цвак.

– Майстер Пернат, наверное, еще никогда не слышал о батальоне, – быстро подхватил Фрисландер и незаметно подмигнул марионеточному актеру. Я отлично понял: это было то же самое что раньше, наверху в моей комнате. Они считали меня больным. Хотели меня развлечь. И Цвак должен был что-нибудь рассказывать. Что бы то ни было.

Добрый старик так сострадательно посмотрел на меня, что у меня кровь бросилась в голову. Если бы он знал, как мне больно от его сострадания!

Я не расслышал первых слов, которыми марионеточный актер начал свой рассказ, – знаю только, что мне казалось, будто я медленно истекаю кровью. Мне становилось все холоднее. Я застывал. Совсем как тогда, когда я лежал на коленях у Фрисландера со своим деревянным лицом. Потом вдруг я очутился среди рассказа, который странно опутывал меня, как безжизненный отрывок из хрестоматии.

Цвак начал:

– Рассказ об ученом юристе Гульберте и его батальоне.

Ну, что мне вам сказать? Лицо у него было все в прыщах, ноги кривые, как у таксы. Уже юношей он не знал ничего, кроме науки. Сухой, изможденный. На тот скудный заработок, который он имел от уроков, он должен был содержать свою больную мать. Какой вид имеют зеленые луга и кусты, холмы, покрытые цветами, леса – все это узнал он только из книг. А как мало солнечного света на черных улицах Праги, вы сами знаете.

Свою докторскую диссертацию он защитил блестяще – это само собой разумеется.

Ну, а с течением времени он стал знаменитым юристом. Таким знаменитым, что все судьи и старые адвокаты обращались к нему, когда чего-либо не понимали. Он, однако, продолжал жить, как нищий в мансарде, окно которой выходило на грязный двор. Так шел год за годом, и слава доктора Гульберта, как светила науки, разлилась по всей стране. Никто не поверил бы, что такой человек, как он, может порой оказаться доступным для мягких сердечных порывов, тем более, что он уже начинал сесть, и никто не мог вспомнить, чтоб он когда-либо говорил о чем-нибудь, кроме юридических наук. Но именно в таких замкнутых сердцах живет особенно пламенная тоска.

В тот день, когда доктор Гульберт достиг цели, которая ему еще в студенческие годы казалась высочайшей, когда его величество император австрийский назначил его ректором нашего университета, – в тот самый день пронесся слух, что он обручился с одной молодой и необычайно красивой девушкой из бедной, правда, но аристократической семьи.

И действительно, казалось, что счастье свалилось на доктора Гульберта. Правда, брак его оказался бездетным, но он носил свою

молодую жену на руках. Величайшей радостью его было исполнять малейшее желание, которое он прочитывал в ее взоре.

Но в своем счастье он ни в малейшей степени не забыл, как это обычно бывает с другими, о страждущих ближних: «Бог утешил мою тоску, – будто сказал он однажды. – Он обратил в действительность образ, который с раннего детства мне преподносился. Он дал мне прекраснейшее из земных существ. И я хочу, чтобы отблеск моего счастья, поскольку это в моих силах, падал и на других».....

Вот почему он принял такое горячее участие в судьбе одного бедного студента, как если бы тот был его сыном. Вероятно, ему приходила в голову мысль, как хорошо было бы, если бы кто-нибудь поступил так с ним во дни его тяжелой юности. Но на земле часто поступок хороший и честный ведет к таким же последствиям, как и самый дурной, потому что мы, люди, не умеем отличать ядовитого семени от здорового. Так случилось и на этот раз: вызванный состраданием поступок доктора Гульберта причинил ему самому горе.

Молодая жена очень быстро воспылала тайной любовью к студенту, и безжалостной судьбе было угодно, чтобы ректор, как раз в тот момент, когда он, неожиданно вернувшись домой, хотел порадовать жену букетом роз, подарком к именинам, застал ее в объятиях того, кого он столь щедро осыпал своими благодеяниями.

Говорят, что голубой василек может навсегда потерять свои цвет, если на него упадет тускло-желтый, серый отблеск молнии. Вот так навсегда ослепла душа старика в тот день, когда вдребезги разлетелось его счастье. Уже в тот вечер он, который никогда ни в чем не знал излишества, просидел здесь у Лойзичек, потеряв сознание от водки, до рассвета. И Лойзичек стал его пристанищем до конца его разбитой жизни. Летом он спал на щебне у какой-нибудь постройки, зимой же – на деревянной скамейке.

Звание профессора и доктора обоих прав за ним молчаливо сохранилось.

Ни у кого не хватало мужества бросить ему, еще недавно знаменитому ученому, упрек в его возбуждающем всеобщее огорчение образе жизни.

Мало-помалу вокруг него собрался весь темный люд еврейского квартала, и так возникло странное сообщество, которое еще до сих пор называется *батальоном*.

Всеобъемлющее знание законов, которым обладал доктор Гульберт, стало оградой для всех, на кого полиция слишком внимательно посматривала. Умирал ли с голода какой-нибудь выпущенный арестант, доктор Гульберт высылал его совершенно голым на Старогородской проспект, – и правление так называемого Фишбанка оказывалось вынужденным заказать ему костюм. Подлежала ли высылке из города бездомная проститутка, он немедленно венчал ее с босяком, приписанным к округу, и делал ее таким образом оседлой.

Сотни таких обходов знал доктор Гульберт, и с его заступничеством полиция бороться не могла. Все, что эти отбросы человеческого общества «зарабатывали», они честно, до последней полушки, сдавали в общую кассу, которая обслуживала все их жизненные потребности. Никто не попадался даже и в ничтожной нечестности. Может быть, именно из-за этой железной дисциплины и сложилось наименование *батальон*.

Каждое первое декабря ночью – годовщина несчастья, постигшего старика – у Лойзичек происходило оригинальное празднество. Сюда набивалась толпа попрошаек, бродяг, сутенеров, уличных девок, пьяниц, проходимцев. Царствовала невозмутимая тишина, как при богослужении – доктор Гульберт помещался в том углу, где сейчас сидят музыканты как раз под портретом его величества императора, и рассказывал историю своей жизни: как он выдвинулся, как стал доктором, а потом ректором. Как только он подходил к тому моменту, когда он вошел в комнату молодой жены, с букетом роз в честь дня ее рождения и в память о том часе, в который он пришел к ней сделать предложение, и она стала его возлюбленной невестой – голос его обрывался. В рыданиях склонялся он над столом. Часто случалось, что какая-нибудь распутная девка стыдливо и осторожно, чтобы никто заметил, вкладывала ему в руку полуувядший цветок.

Слушатели долго не шевелились. Плакать этим людям непривычно. Они только опускают глаза и неуверенно перебирают пальцами.

Однажды утром нашли доктора Гульберта мертвым на скамейке внизу у Молдавы. По-видимому, он замерз.

Его похороны и сейчас стоят перед моим взором. *Батальон* из кожи лез, чтобы все было возможно торжественнее.

Впереди в парадной форме шел университетский педель; в руках у него была пурпурная подушечка с золотой цепью, а за катафалком необозримые ряды... *батальон*, босый, грязный, оборванный и ободранный. Многие продали последние свои тряпки и шли, покрыв тело, руки и ноги обрывками старых газет.

Так оказали они ему последнюю почесть.

На его могиле стоит белый камень с тремя высеченными фигурами: «Спаситель, распятый между двумя разбойниками». Памятник воздвигнут неизвестно кем. Говорят, его поставила жена доктора Гульберта.

В завещании покойного юриста был пункт, согласно которому все члены *батальона* получали у Лойзичек бесплатно тарелку супу. Для этого-то здесь приделаны на цепочках к столу ложки, а углубления в столе заменяют тарелки. В двенадцать часов является кельнерша с большим жестяным насосом, наливает туда суп, и если кто-нибудь оказывается не в состоянии доказать свою принадлежность к *батальону*, она тем же насосом выкачивает обратно жидкость.

Обычай этого стола вошел в поговорку и распространился по всему миру.

Поднявшийся в зале шум вывел меня из летаргии. Последние фразы, произнесенные Цваком, еще заполняли мое сознание. Я еще видел, как он разводил руками, чтобы пояснить, как насос ходил взад и вперед. Затем возникавшие вокруг нас картины стали мелькать с такой быстротой и автоматичностью, и при всем том с такой неестественной отчетливостью, что я мгновениями забывал самого себя и чувствовал себя каким-то колесиком в живом часовом механизме.

Комната превратилась в сплошное человеческое месиво. Наверху, на эстраде, обычные господа в черных фраках. Белые манжеты, сверкающие кольца. Драгунский мундир с аксельбантами ротмистра. В глубине дамская шляпа со страусовым пером цвета лососины.

Сквозь решетку барьера смотрело искаженное лицо Лойзы. Я видел: он едва держался на ногах. Был тут и Яромир, он неподвижно смотрел вверх, совсем тесно прижавшись к боковой стене, как бы притиснутый туда невидимой рукой.

Танец вдруг оборвался: очевидно, хозяин крикнул что-то такое, что испугало всех. Музыка продолжала играть, но тихо, как бы неуверенно. Она дрожала – это ясно чувствовалось. А на лице у хозяина все же было выражение коварной, дикой радости.... У входной двери стоит полицейский комиссар в форме. Он загородил руками выход, чтобы никого не выпустить. За ним – агент уголовного розыска.

– Здесь все-таки танцуют! Несмотря на запрещение. Я закрываю этот притон. Ступайте за мной, хозяин. Все прочие, марш в участок.

Слова звучат командой.

Дюжий парень не отвечает, но коварная гримаса не сходит с его лица.

Она кажется застывшей.

Гармоника поперхнулась и едва посвистывает.

Арфа тоже поджала хвост.

Лица все вдруг видны в профиль: они с ожиданием всматриваются в эстраду.

Аристократическая черная фигура спокойно сходит с лесенки и медленно направляется к комиссару.

Взоры агента прикованы к блестящим лаковым ботинкам приближающегося.

Последний останавливается на расстоянии одного шага от полицейского и обводит его скучающим взглядом с головы до ног, потом с ног до головы.

Остальные господа на эстраде, перегнувшись через верила, стараются задушить свой смех серыми шелковыми носовыми платками.

Драгунский ротмистр вставляет золотую монету в глаз и выплевывает окурок в волосы девушки, стоящей внизу.

Полицейский комиссар изменился в лице, и, не отводя глаз, смущенно смотрит на жемчужину на манишке аристократа.

Он не может вынести хладнокровного тусклого взгляда этого бритого неподвижного лица с крючковатым носом.

Оно выводит его из себя, подавляет его.

Мертвая тишина в зале становится все мучительнее.

– Так смотрят статуи рыцарей, что лежат со сложенными руками на каменных гробах в готических церквах, – шепчет художник Фрисландер, кивая в сторону кавалера.

Наконец, аристократ нарушает молчание: – Э... Гм... – Он подделывается под голос хозяина: – Да, да, вот это гости, это видно. – По залу проносится оглушительный взрыв хохота, стаканы дребезжат, босяки хватаются за живот от смеха. Бутылка летит в стену и разбивается вдребезги. Толстый хозяин почтительно шепчет нам, поясняя: «его светлость, князь Ферри Атенштедт».

Князь подал полицейскому визитную карточку. Несчастный берет ее, отдает честь и щелкает каблуками.

Снова становится тихо. Толпа ждет, затаив дыхание, что будет дальше.

Князь опять говорит:

– Дамы и господа, которых вы здесь видите... эээ... это мои милые гости. – Его светлость небрежным жестом указывает на весь сброд. – Не разрешите ли, господин комиссар... эээ... представить вас.

С вынужденной улыбкой комиссар отказывается, что-то бормочет... что, «к сожалению, обязанность службы», и наконец, оправившись, добавляет: – Я вижу, здесь все в порядке.

Это вызывает к жизни драгунского ротмистра. Он бросается к дамской шляпе со страусовым пером и в ближайшее мгновение, при торжественном одобрении аристократической молодежи, выводит... Розину в зал.

Она так пьяна, что едва стоит на ногах, глаза ее закрыты. Большая дорогая шляпа сидит криво. На ней нет ничего, кроме розовых чулок и мужского фрака, надетого на голое тело.

Сигнал: музыка, обезумев, начинает...

...Ри-ти-тит, Ри-ти-тит...

и смывает гортанный крик, вырвавшийся у глухонемого Яромира, когда он увидел Розину.

Мы собираемся уходить.

Цвак зовет кельнершу.

Общий шум заглушает его слова.

Картины, мелькающие передо мной, становятся фантастическими: как в чаду опиума.

Ротмистр обнял полуголую Розину и медленно в такт кружится с ней.

Толпа почтительно расступается.

Затем раздается шепот со скамеек: «Лойзичек, Лойзичек». Шеи вытягиваются, и к танцующей паре присоединяется еще одна, еще более странная. Похожий на женщину юноша, в розовом трико, с длинными светлыми волосами до плеч, с губами и щеками, нарумяненными, как у проститутки, опустив в кокетливом смущении глаза, – прижимается к груди князя Атенштедта.

Арфа струит слащавый вальс.

Дикое отвращение к жизни сжимает мне горло.

В ужасе глаза мои ищут дверь. Там, отвернувшись, чтоб ничего не видеть, стоит комиссар и что-то быстро шепчет агенту, который прячет какой-то предмет. Слышится звон ручных кандалов.

Оба пристально смотрят на рябого Лойзу, который на один миг обнаруживает намерение спрятаться, но потом, оцепенев, с лицом белее извести и перекосившимся от страха, остается на месте.

Один образ вспыхивает в моем воспоминании и тотчас потухает: картина, которую я видел час тому назад. Прокоп прислушивается, перегнувшись через решетку водостока, а из земли раздается предсмертный крик.

Я хочу вскрикнуть и не могу. Холодные пальцы лезут мне в рот и прижимают язык к передним зубам, язык каким-то комом затыкает мне горло, и я не могу произнести ни слова.

Самих пальцев я не вижу – знаю только, что они существуют. невидимо, – и все же я их воспринимаю как нечто телесное.

В моем сознании ясно вырисовывается: *они принадлежат руке того призрака, который дал мне книгу «Ibbur», в моей комнате на Петушьей улице.*

– Воды, воды! – кричит возле меня Цвак. Они держат мою голову и освещают мне зрачки свечой.

– Отнести его домой, позвать врача... архивариус Гиллель знает толк в этом... к нему... – совещаются они.

Я лежу на носилках неподвижно, как труп, а Прокоп и Фрисландер выносят меня.

VII. ЯВЬ

Цвак взбежал по лестнице впереди нас, и я слышал, как Мириам, дочь архиварнуса Гиллеля, тревожно расспрашивала его, а он старался ее успокоить.

Я несколько не старался вслушиваться в то, о чем говорили, и скорее догадался, чем понял из слов: Цвак рассказывал, что мне стало худо, и они ищут первой помощи, чтобы привести меня в сознание.

Я все еще не мог шевельнуть ни одним членом, и невидимые силы все еще сжимали мне язык, но мысли мои были тверды и ясны, а чувство страха оставило меня. Я знал точно, где я был, что со мной случилось, и находил вполне естественным, что меня внесли, как покойника, в комнаты Шемайи Гиллеля, опустили на пол и оставили одного.

Мной овладело спокойное естественное удовлетворение, которое испытывают при возвращении домой после долгого странствования.

В комнате было темно. Крестовидные очертания оконных рам расплывались в светящемся тумане, проникавшем с улицы.

Все казалось мне вполне естественным, и я не удивился ни тому, что Гиллель вошел с еврейским субботним семисвечником, ни тому, что он спокойно сказал мне «добрый вечер», как говорят человеку, которого поджидали.

Нечто в этом человеке вдруг бросилось мне в глаза, пока он расхаживал по комнате, поправляя разные предметы на комод и зажигая второй семисвечник. А ведь мы встречались с ним часто, три или четыре раза в неделю, на лестнице, и ничего особенного я в нем не замечал за все то время, что я жил в этом доме.

Мне бросились в глаза: пропорциональность всего его тела и отдельных членов, тонкий очерк лица с благородным лбом.

Он должен был быть, как я теперь рассмотрел при свете, не старше меня, самое большее ему могло быть 45 лет.

– Ты пришел, – заговорил он немного погодя, – на несколько минут раньше, чем я предполагал, не то свечи были бы уже зажжены. – Он указал на канделябры, подошел к носилкам и направил свои темные, глубокие глаза, как мне показалось, на кого-то, стоявшего у

меня в головах на коленях, но на кого именно, я не мог рассмотреть. Затем он зашевелил губами и беззвучно произнес какую-то фразу.

Тотчас же невидимые пальцы отпустили мой язык, и оцененение прошло. Я приподнялся и оглянулся назад, никого, кроме Шемайи Гиллеля и меня, в комнате не было.

Так что и его «ты», и замечание, что он ожидал меня, относились ко мне!?

Еще больше, чем все эти обстоятельства, поразило меня, что я не был в состоянии почувствовать даже малейшее удивление.

Гиллель, очевидно, угадал мои мысли, потому что он дружески улыбнулся, помогая мне подняться с носилок, и, указывая на кресло, он сказал:

– И ничего удивительного нет в этом. Ужасают только призраки – «кишуф». Жизнь язвит и жжет, как власяница, а солнечные лучи духовного мира ласкают и согревают.

Я молчал, потому что решительно не знал, что бы я мог сказать. Он, по-видимому, и не ждал ответа, сел против меня и спокойно продолжал: – «И серебряное зеркало, если бы оно обладало способностью чувствовать, ощущало бы боль только тогда, когда его полируют. Гладкое и блестящее, оно отражает все образы мира, без боли и возбуждения.

– Благо человеку, – тихо прибавил он, – который может сказать про себя: я отполирован. – На минуту он задумался, и я слышал, как он прошептал по-еврейски: «Lischuosecho kiwisi Adoschem».^[4]

Затем его голос отчетливо заговорил:

– Ты явился ко мне в глубоком сне, и я воззвал тебя к бодрствованию. В псалмах Давида сказано:

«Тогда я сказал себе самому: ныне начну я, лестница Божия совершила преобразование сие». Когда люди поднимаются с ложа сна, они воображают, что они развеяли сон, и не знают, что становятся жертвой своих чувств, что делаются добычей нового сна, более глубокого, чем тот, из которого они только что вышли. Есть только одно истинное пробуждение, и это то, к которому ты теперь приближаешься. Если ты скажешь это людям, то они подумают, что ты болен, ибо им не понять. Бесполезно и жестоко говорить им об этом. Они исчезают, *как поток.*

Они – точно сон.

Точно трава, которая сейчас завянет.

Которая к вечеру будет срезана и засохнет.

– Кто был незнакомец, который приходил ко мне и дал мне книгу «Ibbur»? Наяву или во сне видел я его? – хотел я спросить, но Гиллель ответил мне раньше, чем я успел произнести эти слова.

– Знай, что человек, который посетил тебя и которого ты зовешь Големом, означает воскресение из мертвых внутри духа. Все на земле не что иное, как вечный символ в одеянии из праха.

Как думаешь ты глазами? Ведь каждую форму, видимую тобою ты обдумал глазом. Все, что приняло форму, было раньше призраком.

У меня было чувство, точно все понятия, твердо стоявшие в моем уме на своих якорях, вдруг сорвались и, как корабли без руля, устремились в безбрежное море.

Гиллель спокойно продолжал:

– Кто пробудился, тот уже не может умереть. Сон и смерть – одно и то же.

«...не может умереть?» Смутная боль охватила меня.

– Две тропинки идут рядом: путь жизни и путь смерти. Ты получил книгу «Ibbur» и читал ее. Твоя душа зачала от духа жизни... – слышал я слова его.

«Гиллель, Гиллель, дай мне идти путем, которым идут все люди – путем смерти», – дико кричало все существо мое.

Лицо Шемайи Гиллеля стало неподвижным и серьезным.

– Люди не идут никаким путем, ни путем жизни, ни путем смерти. Вихрь носит их, как солому. В Талмуде сказано: «прежде, чем Бог сотворил мир, он поставил перед своими созданиями зеркало, чтобы они увидели в нем страдания бытия и следующие за ними блаженства. Одни взяли на себя страдания, другие – отказались, и вычеркнул их Бог из книги бытия». А вот ты идешь своим путем, свободно избранным тобой, пусть даже неведомо для тебя: ты несешь в себе собственное призвание. Не печалься: по мере того, как приходит знание, приходит и воспоминание. Знание и воспоминание – одно и то же.

Дружеский, почти любезный тон, звучавший в словах Гиллеля, вернул мне покой, и я почувствовал себя в безопасности, как больной ребенок, который знает, что отец возле него.

Я огляделся и заметил, что комната сразу наполнилась людьми, обступившими нас: некоторые в белых саванах, какие носили старые равнины, другие в треугольных шляпах, с серебряными пряжками на башмаках, – но Гиллель провел рукой по моим глазам, и комната снова опустела.

Затем он вывел меня на лестницу, дал мне зажженную свечу, чтоб я мог осветить себе на пути к моей комнате.

Я лег в постель и хотел заснуть, но сон не приходил, и я впал в какое-то странное состояние: я не грезил, не спал, но и не бодрствовал.

Свет я загасил, но, несмотря на это, в комнате все было так ясно, что я четко различал все очертания предметов. При этом я чувствовал себя хорошо, не было того мучительного беспокойства, которое охватывает обычно человека в таком состоянии.

Никогда за всю мою жизнь я не был способен так остро и четко мыслить, как теперь. Здоровый ритм пробежал по моим нервам и привел в стройный порядок мои мысли – точно войско, которое ждало моих приказаний.

Мне стоило только скомандовать, и они маршировали передо мной и исполняли все, что я хотел.

Мне пришла на память камешек из авантюрина, которую я пробовал за последние недели вырезать и все никак не мог, потому что рассыпанные в этом минерале кусочки слюды никак не совпадали с рисовавшимися мне чертами лица. Теперь в одно мгновение способ был найден, и я знал совершенно точно, как надо держать резец, чтобы справиться со структурой материала.

Еще недавно игралище фантастики и всяческих видений, о которых я часто не знал: идеи это или чувство, тут вдруг я владыка и король в собственном царстве.

Вычисления, которые я раньше делал с большим трудом на бумаге, теперь сами собой легко слагались, как бы шутя, в результаты. Все это давала мне новая, пробудившаяся во мне, способность видеть и удерживать в памяти именно то, что мне нужно было: цифры, формы, предметы, краски. И если дело касалось вопросов, в которых эти орудия являлись бессильными – философских проблем или чего-нибудь в этом роде, – то, вместо внутреннего зрения, являлся слух, причем роль говорящего принадлежала голосу Шемайи Гиллеля.

Мне стали доступны чудеснейшие откровения.

То, что я тысячи раз в жизни пропускал мимо ушей, небрежно, как пустые слова, вставало передо мной в своей громадной значительности; то, что я заучивал «наизусть», я теперь схватывал сразу, как свое собственное. Тайны словосочетаний, которым прежде я был чужд, обнажались предо мной.

Высокие идеалы человечества, которые до сих пор с благородной миной коммерции советника и с грудью, покрытой орденами, говорили со мной сверху вниз, покорно сняли шутовские маски и просили извинения: они сами ведь нищие, но все еще могут поддержать какой-нибудь еще более наглый обман.

Не приснилось ли мне все это? Может быть, я вовсе не говорил с Гиллелем.

Я ухватился за стул возле моей постели.

Все правильно, там была свеча, которую дал мне с собой Шемайя. Счастливый, как ребенок, который в рождественскую ночь убедился в том, что чудесный гном действительно существует, я снова уткнулся в подушки.

Точно ищайка, я проник дальше в толщу окружавших меня духовных загадок.

Сперва я попытался дойти до того пункта моей жизни, до которого хватило мне моих воспоминаний. Только оттуда, думалось мне, может быть, мне удастся осмотреть ту эпоху моего существования, которая, по странному сплетению судеб, остается для меня погруженной во мрак.

Но, несмотря на все мои усилия, я оставался в пределах темного двора нашего дома и только различал через ворота лоток Аарона Вассертрума.

Точно целый век жил я резчиком камней в этом доме, – всегда в одном возрасте, никогда не быв ребенком!

Я уже готов был отказаться от безнадежной попытки проникнуть дальше в тайники прошлого, но тут я внезапно с изумительной ясностью ощутил, что в моих воспоминаниях проходит широкая дорога событий, замыкаясь воротами, и что множество маленьких узких тропинок, всегда сопровождающих главную дорогу, до сих пор совершенно мною необследовано. «Откуда, – услышал я почти явственный крик, – дались тебе знания, благодаря которым ты теперь

влачишь свое существование? Кто научил тебя вырезыванию камней, гравированию и всему прочему? Читать, писать, говорить, есть, ходить, дышать, думать, чувствовать?»

Я тотчас же ухватился за прозвучавший внутри меня совет.

Я систематически обозревал мою жизнь. Я заставлял себя в опрокинутом, но непрерывном ракурсе решать: что было исходным пунктом того, что случилось только что, что произошло до того и т. д.

Вот и опять я оказался у ворот...

Вот, вот! Один маленький скачок в пустоту, и бездна, отделяющая меня от забытого, будет преодолена... Но тут всплыла передо мной картина, которой я не заметил при анализе прошлого: *Шемайя Гиллель провел рукой по моим глазам*, совсем так, как недавно в своей комнате. И все исчезло. Даже желание продолжать думать об этом. Но одно прочное приобретение осталось у меня, а именно, следующее открытие: весь ряд событий в жизни есть тупик, как бы широко и доступно они, по-видимому, не располагались. Узенькие, скрытые тропинки – они ведут к потерянной родине: то, что нежно, едва заметно, запечатлелось в нашем теле, а не страшные рубцы, причиняемые нам внешней жизнью, – здесь разгадка последних тайн.

Так же, как я могу перенестись ко дням моей юности, стоит только пройти по алфавиту, в обратном порядке, от Зет до А, и вот я уже вижу себя учащимся в школе, – так, понял я, должен я странствовать и в иную далекую родину, лежащую по ту сторону всяких дум.

Бесконечная работа навалилась на мои плечи. И Геркулес одно время держал на своей голове громаду неба, – припомнилось мне, и я вдруг понял скрытое значение этой легенды. И как Геркулес освободился хитростью, попросив гиганта Атланта: «Позволь мне только сделать веревочную подушечку на голову; чтоб ужасная ноша не разможила мне черепа», – так и я найду, думалось мне, какие-нибудь затаенные выходы из этого ущелья.

Внезапно глубокая досада овладела мною при мысли о необходимости слепо верить ходу моих размышлений, я растянулся на спине, закрыл пальцами глаза и уши, чтоб не отвлекаться никакими ощущениями, чтобы убить всякую мысль.

Но моя воля разбилась о железный закон: одну мысль я мог прогнать только посредством другой, умирала одна, ее трупом

питалась следующая. Я убегал по шумящим потокам моей крови, – но мысли преследовали меня по пятам. Я искал убежища в закоулках моего сердца – одно мгновение, и они меня там настигали.

Опять пришел ко мне на помощь ласковый голос Гиллея: «Следуй своей дорогой и не уклоняйся! Ключ от искусства забвения находится у наших братьев, идущих путем смерти, – ты же зачал от духа жизни».

Передо мной появилась книга «Ibbug», и две буквы загорелись в ней: одна обозначала бронзовую женщину с мощным, как землетрясение, биением пульса, другая в бесконечном отдалении: *Гермафродит на перламутровом троне, с короной из красного дерева на голове.*

Тут Шемайя Гиллель провел в третий раз рукой по моим глазам и я заснул.

VIII. Снег

«Дорогой и уважаемый мастер Пернат! Я пишу вам это письмо очень спешно и в величайшей тревоге. Прошу вас уничтожить его немедленно по прочтении – или еще лучше верните его мне обратно, вместе с конвертом, иначе я не буду спокойна.

Не говорите никому, что я вам писала. И о том, куда вы сегодня пойдете.

Ваше благородное, доброе лицо совсем недавно внушило мне такое доверие (этот маленький намек на виденное вами событие даст вам понятие, кто пишет это письмо – я боюсь подписаться), – к тому же: ваш добрый покойный отец был моим учителем в детстве. Все это дает мне смелость обратиться к вам, как к единственному человеку, который в состоянии помочь мне.

Умоляю вас прийти сегодня в пять часов в собор на Градчине».

Добрых четверть часа я просидел с этим письмом в руках. Исключительное благоговейное настроение, которое владело мной со вчерашнего вечера, сразу рассеялось, – одно свежее дыхание нового суетного дня снесло его. Ко мне, улыбаясь, полная обещаний, приблизилась судьба юного существа, дитя весны. Человеческое сердце просит у меня помощи. У меня! Моя комната сразу стала какой-то новой. Ветхий резной шкаф выглядел таким довольным, и четыре кресла показались мне старыми приятелями, собравшимися вокруг стола, чтобы, посмеиваясь, начать игру в тарок.

Мои часы наполнились содержанием, сиянием и богатством.

Неужели сгнившему дереву суждено еще принести плоды?

Я чувствовал, как бегут по мне спавшие до сих пор животворные силы, – они были спрятаны в глубинах моей души, засыпаны мелким щебнем повседневности и вырвались потоком, прорвавшим лед зимы.

И с письмом в руке я сознавал уверенно, что я приду на помощь, чего бы это ни стоило. В сердечном восторге я чувствовал, что случившееся незыблемо, как здание.

Снова и снова я перечитывал это место: «к тому же ваш добрый покойный отец был моим учителем в детстве...» – У меня захватывало дыхание, не звучало ли это, как обещание: сегодня ты будешь со мной в раю!?

Протянувшаяся ко мне за помощью рука несла мне подарок: дорогое мне воспоминание откроет мне тайну, поможет приподнять завесу, скрывающую мое прошлое!

«Ваш добрый покойный отец...» Как чуждо звучали эти слова, когда я повторял их! – Отец! – На миг припомнилось мне утомленное лицо седого старика, в кресле у моего сундука – чужое, совершенно чужое и все же необычайно знакомое. Затем мои глаза вернулись к действительности, и громкое биение моего сердца стало созвучным с реальным мигом.

Я вскочил в испуге, не пропустил ли?

Взглянул на часы: слава Богу, только половина пятого. Я вошел в спальню, надел пальто и шляпу и стал спускаться по лестнице. Какое дело мне сегодня до шепота темных углов, до злых досадливых колебаний, которые непрерывно возникали: «мы не пустим тебя – ты наш, мы не хотим, чтоб ты радовался – не хватает, чтобы еще кто-нибудь радовался в этом доме!»

Тонкая, ядовитая пыль, которая обычно поднималась, удушая меня, из всех этих углов и закоулков, сегодня исчезла от живого дыхания моих уст. На секунду я остановился у двери Гиллеля. Зайти?

Тайная робость не дала мне постучаться. Мне так странно было сегодня – как будто я *не смею* зайти к нему. И уже толкала меня жизнь вперед, с лестницы вниз.

Белая от снега улица.

Вероятно, многие здоровались со мной, но не помню, отвечал ли я им. Я беспрестанно нащупывал письмо на моей груди.

Оттуда веяло теплом.

Я шел под арками переплетающихся аллей Старогородского Кольца, мимо бронзового фонтана, вырезные решетки которого были увешаны сосульками, дальше через каменный мост со статуями святых и с фигурой Иоанна Непомука.

Внизу гневно разбивались волны о стены набережной.

В полусне упал мой взор на высеченную в песчанике нишу святой Луитгарды с «муками осужденных»; снег густо лежал на бровях страждущих и на цепях молитвенно воздетых рук.

Ворота втягивали меня и отпускали. Передо мной медленно проплывали дворцы, с их резными надменными порталами, где

львиные головы на бронзовых кольцах раскрывали свои пасти.

И тут тоже снег, повсюду снег. Мягкий, белый, как шкура огромного полярного медведя.

Высокие, гордые окна с сияющими карнизами смотрели безучастно на облака.

Меня удивляло, что в небе было так много птиц.

По мере того, как я подымался в Градчину по бесчисленным гранитным ступеням, каждая шириной в четыре человеческих туловища, из моего кругозора постепенно исчезал город с его крышами и балконами.

Уже ползли сумерки вдоль домов, когда я очутился на пустынной площади; там посредине тянулся собор к трону небес.

Стены, обледенелые по краям, вели к боковому входу. Откуда-то из далекой квартиры доносились в вечернем безмолвии тихие, затерянные звуки гармоники. Как горестные слезы ниспадали они в забвение.

Я услышал вздох дверной обшивки, когда за мной затворилась церковная дверь. Я стоял в темноте, и золотой алтарь сверкнул мне сквозь зеленое и синее мерцание умирающего света, падавшего сквозь цветные окна на церковные стулья. Сверкали искры из красных стеклянных лампад.

Слабый запах воска и ладана.

Я сажусь на скамью. Кровь моя странно замирает в этом царстве покоя.

Жизнь с остановившимся сердцебиением наполняет пространство. Затаенное терпеливое ожидание.

Серебряные реликвии покоились в вечном сне.

Вот. Издали донесся шум копыт, задел мой слух, хотел приблизиться и затих.

Неясный шум хлопнувшей дверцы кареты.

Шуршание шелкового платья приблизилось ко мне, и тонкая, нежная женская рука коснулась моей.

– Пожалуйста, пожалуйста, идем туда, к колонне. Мне не хочется, здесь, на церковных скамьях, говорить с вами о том, что я должна вам сказать.

Священные картины рассеялись в трезвой ясности, внезапно охватили меня будни.

– Я право, не знаю, майстер Пернат, как мне благодарить вас за то, что вы, из любезности ко мне, совершили в такую скверную погоду этот долгий путь.

Я пробормотал несколько банальных слов.

– ...Но я не нашла другого места, где я была бы более защищена от преследований и опасности, чем здесь. Сюда, в собор, наверное, никто за нами не следовал.

Я вынул письмо и протянул его даме.

Она была вся укутана в дорогие меха, но по звуку ее голоса я узнал в ней ту самую, что недавно в ужасе от Вассертрума бежала в мою комнату на Петушьей улице. Я даже не удивился этому, потому что никого другого не ожидал встретить.

Я всматривался в ее лицо, которое в полутьме ниши казалось еще бледнее, чем было, по-видимому, в действительности. От ее красоты у меня захватило дух, и я стоял, как зачарованный. С какой радостью я пал бы перед ней и целовал бы ее ноги за то, что она обратилась к моей помощи, что меня избрала она для этой цели.

– Забудьте, я прошу вас от всей души – по крайней мере, пока мы здесь, о той странной ситуации, в которой вы тогда увидели меня, – смущенно продолжала она. – ...я и не знала даже, как вы смотрите на такие вещи...

– Я уже старик, но ни разу в жизни я не решился стать судьей над моими ближними, – вот все, что я мог сказать.

– Спасибо вам, майстер Перват, – тепло и просто сказала она. – Теперь терпеливо выслушайте меня, не можете ли вы выручить меня или, по крайней мере, дать мне совет в моем отчаянном положении. – Я чувствовал, что ею овладел безумный страх, голос ее дрожал. – Тогда... в ателье... у меня появилась ужасная уверенность, что это страшное чудовище выследило меня. Уже целый месяц, как я замечаю, куда бы я ни шла, одна ли, с мужем ли, или с... с... с доктором Савиоли, всегда, всегда, где-нибудь вблизи появляется страшное, преступное лицо этого старьевщика. Во сне и наяву преследуют меня его косые глаза. Он еще не показывает, чего он хочет, но тем мучительнее гнетет меня по ночам ужас, когда же он, наконец, набросит мне петлю на шею!

Сперва, доктор Савиоли пробовал успокоить меня, говоря, что жалкий старьевщик, как этот Аарон Вассертрум, не может мне, вообще, повредить; в худшем случае дело может дойти до какого-нибудь ничтожного вымогательства или чего-нибудь в этом роде. Однако, каждый раз его губы бледнели, как только произносилось имя Вассертрума. Я боюсь, что доктор Савиоли скрывает что-то, чтобы меня успокоить, что-то ужасное, что может стоить жизни ему или мне.

Впоследствии я узнала то, что он так заботливо хотел скрыть от меня: *старьевщик не раз ночью являлся к нему на квартиру!* Я знаю, я чувствую всем существом своим, происходит нечто, что медленно стягивается вокруг нас, как кольца змеи. Что нужно было там этому разбойнику? Почему доктор Савиоли не может отделаться от него? Нет, нет, я больше не могу видеть этого, я должна что-нибудь предпринять. Что угодно, иначе это сведет меня с ума...

Я хотел возразить ей несколькими словами утешения, но она не дала мне закончить фразы.

– А в последние дни кошмар, который грозит задушить меня, принял более конкретные формы. Доктор Савиоли внезапно заболел, – я не могу с ним теперь сноситься, не смею навещать его, так как иначе моя любовь к нему может быть обнаружена ежечасно. Он лежит в бреду, и единственное, что я могла узнать, это то, что он в бреду видит себя преследуемым каким-то мерзавцем с заячьей губой – Аарон Вассертрум!

Я знаю смелость доктора Савиоли, и тем ужаснее – можете себе это представить – мое настроение, когда я вижу его совершенно подавленным и парализованным, перед опасностью, которую я сама чувствую, как приближающуюся ко мне страшную петлю.

Вы скажете, что я трусиха, зачем я не объяснюсь открыто с доктором Савиоли, зачем не пожертвую всем, раз я так уж люблю его, всем: богатством, честью, славой и т. д., – вскричала она так громко, что эхо отозвалось в галереях хора, – но я не могу! Ведь у меня ребенок, моя милая, белокурая, маленькая девочка! Не могу же я пожертвовать своим ребенком? Да разве вы думаете, что мой муж позволил бы мне это!.. Вот, – вот возьмите это, майстер Пернат, – она выхватила в безумном порыве мешочек, полный нитями жемчуга и драгоценными камнями. – Отдайте это негодяю, я знаю, – он

жадный... Пусть берет все, что у меня есть, пусть только оставит мне ребенка... Правда, он не выдаст меня?..

Говорите же, Христа ради, скажите хоть слово, что вы хотите мне помочь!

С большим трудом удалось мне успокоить ее и заставить ее сесть на скамью.

Я говорил ей все, что приходило в голову, бессмысленные и бессвязные фразы.

Мысли мчались в моем мозгу, и я едва понимал, что говорит мой язык – фантастические идеи расплывались, едва родившись.

Мой взор рассеянно остановился на фигуре монаха, изображенного на стене. Я говорил и говорил. Мало-помалу очертания фигур преобразились: ряса стала потертым пальто с поднятым воротником, а из него выросло молодое лицо с впалыми щеками, покрытыми чахоточными пятнами.

Не успел я еще уразуметь этого видения, как передо мной снова был монах. Мой пульс бился слишком сильно.

Несчастливая женщина склонилась на мою руку и тихо плакала.

Я сообщил ей часть силы, родившейся во мне при чтении письма и еще сейчас меня переполнявшей.

И я заметил, как она постепенно стала приходить в себя.

– Я хочу вам объяснить, почему я обращаюсь именно к вам, майстер Пернат, – снова тихо заговорила она после долгого молчания. – Вы однажды сказали мне несколько слов, и я никогда в течение долгих годов не могла забыть их...

Многих годов? У меня кровь остановилась в жилах.

– Вы прощались со мной – я уже не помню при каких обстоятельствах – я была еще ребенком, – и вы сказали так ласково и грустно:

«Пусть никогда этого не случится, но все же вспомните обо мне, если когда-нибудь вы окажетесь в безвыходном положении. Может быть, Господь Бог устроит так, что именно я в состоянии буду вам помочь». Я тогда отвернулась и быстро бросила свой мяч в фонтан, чтоб вы не заметили моих слез. Потом я хотела вам подарить мое красное коралловое сердечко, которое я носила на шелковой ниточке на шее, но мне было стыдно, – это было бы так смешно.

Воспоминание!

Судорога сжимала мне горло. Точно проблеск света из далекой манящей страны мелькнуло передо мной – вдруг и ужасно: маленькая девочка в белом платье, вокруг зеленая лужайка парка, обрамленная старыми вязами. Я отчетливо увидел это опять.

Я, должно быть, побледнел, я понял это по поспешности, с какой она продолжала: «Я отлично знаю, что эти слова были вызваны настроением разлуки, но они часто были утешением для меня, – и я благодарю вас за них».

С усилием стиснул я зубы и задержал в груди кричащую боль, разрывавшую мое сердце. Я понял. Милостивая рука задержала поток моих воспоминаний. Ясно стало теперь в моем сознании все то, что внес в него короткий проблеск умчавшихся дней: любовь, слишком большая для моего сердца, годами разлагала мои мысли, и ночь безумия стала бальзамом для больного духа.

Постепенно спускалось спокойствие умирания, и высыхали слезы в моих глазах. Колокольный звон проплывал важно и гордо в соборе, и я был в состоянии с радостным смехом смотреть в глаза той, которая пришла сюда искать моей помощи.

Снова услышал я слухом стук дверцы экипажа и топот копыт.

По снегу, мерцавшему голубоватым светом, я направился в город. Фонари, подмигивая, смотрели на меня. Скученные груды елок своими блестящими, посеребренными орехами, шептали мне о близящемся Рождестве.

На площади Ратуши, возле статуи Марии, при мигании свечей, нищенки с серыми платочками на голове перебирали четки перед образом Божьей Матери.

У темного входа в еврейский квартал грудились лавки рождественского базара. Посредине площади ярко вырисовывалась при свете факелов обтянутая красным открытая сцена кукольного театра.

Помощник Цвака в пурпурном и фиолетовом одеянии, с кнутом в руках и с привязанным к нему черепом, стуча, скакал на деревянной лошадке по доскам сцены.

Рядами, тесно прижавшись друг к другу, разинув рты, смотрели туда дети в меховых шапках, надвинутых на уши, – как зачарованные слушали стихи покойного пражского поэта Оскара Винера.

Мой друг Цвак декламировал их, сидя внутри ящика:

«Паяц торжественно идет, Он тощ и бледен, как поэт, Он строит рожи и поет, В заплаты пестрые одет»...

Я свернул в переулок, темным углом выходящий на площадь. Здесь, в темноте, перед каким-то объявлением молча стояла, голова к голове, группа людей.

Кто-то зажег спичку, и я смог прочесть несколько отрывочных строк. Слабеющим сознанием воспринял я несколько слов.

Исчез! 1000 флоринов вознаграждения Пожилой мужчина... в черном...

...приметы:

...полное, бритое лицо ...цвет волос: седой...

Полицейское Управление... Комната...

Безвольно, равнодушно, как живой труп, шел я между рядами неосвященных домов.

Горсточка маленьких звезд поблескивала на узком темном небесном пути над кровлями.

Умиротворенно неслись мои мысли обратно к собору, мой душевный покой стал еще блаженнее и глубже, как вдруг с резкой отчетливостью, точно прозвучав над самым ухом, донеслись до меня по морозному воздуху слова кукольного актера:

«А где сердечко из коралла?

Оно на ленточке висело И на заре сияло алой»...

IX. Наваждение

До глубокой ночи я беспокойно шагал по моей комнате и Напрягал мозг, все измышляя, как бы я мог оказать ей помощь.

Порою я уже решался спуститься вниз к Шемайе Гиллелю, чтобы рассказать ему то, что я выслушал, и просить у него совета, но каждый раз я отказывался от этого решения.

Он стоял передо мной столь великий духом, что мне казалось кощунством докучать ему повседневными вещами.

Затем мгновениями нападало на меня жгучее сомнение, наяву ли я все это пережил. Все это случилось совсем недавно, а уже побледнело в памяти сравнительно с яркими переживаниями истекшего дня.

Уже не приснилось ли мне все это?

Я, переживший неслыханное, забывший свое прошлое, мог ли я хоть на секунду принять за действительность то, чему единственным свидетелем была моя память?

Мой взгляд упал на свечу Гиллеля, все еще лежавшую на стуле.

Слава Богу, хоть одно несомненно, я был в тесном соприкосновении с ним!

Не побежать ли к нему без всяких размышлений, обнять его колени и, как человек человеку, пожаловаться ему на то, что невыразимое горе терзает мое сердце.

Я уже коснулся дверной ручки, но снова отпустил ее. Я предвидел, что должно было произойти: Гиллель будет ласково проводить рукой по моим глазам и... нет, нет, только не это!.. Я не имел никакого права желать облегчения. «Она» надеялась на меня и на мою помощь, и если даже опасность, в которой она находится, кажется мне порою маленькой и ничтожной, «она» воспринимает ее, как огромную.

Просить совета у Гиллеля можно и завтра. Я заставлял себя спокойно и трезво думать: теперь, ночью, тревожить его, – это неразумно. Так может поступать только сумасшедший.

Я хотел было зажечь лампу, но отказался от этого, отраженный лунный свет падал с противоположных крыш в мою комнату, и становилось светлее, чем мне хотелось. Я опасался, что ночь протянется еще дольше, если я зажгу свет.

Было столько безнадежности в сознании, что нужно зажечь лампу, чтобы только дожидаться дня, являлось такое опасение, что это отодвинет утро в недостижимую даль.

Как призрак, как воздушное кладбище, тянулись ряды кровель... это были точно надгробные плиты с полуистертыми надписями, нагроможденные над мрачными могилами, «обителями», насыщенными стонами людей.

Долго стоял я и смотрел наверх, пока не стало мне страшно, отчего не пугает меня шум сдержанных шагов. А ведь он совсем отчетливо доносился до меня сквозь стены.

Я насторожился: не было сомнений – там ходил кто-то, по тихому скрипу пола было ясно, как пугливо ступает он подошвами.

Я сразу пришел в себя. Я точно умалился физически, так сжалось все во мне от прислушивания. Я воспринимал только настоящий миг.

Еще один пугливый, отрывистый скрип, и все умолкло. Мертвая тишина. Стерегающая жуткая тишина, предающая себя своим внутренним криком и превращающая минуту в бесконечность.

Я стоял неподвижно, прижав ухо к стене, – меня мучила мысль, что по ту сторону стены кто-то стоит так же, как я, и делает то же самое.

Я продолжал прислушиваться.

Ничего!

Соседнее ателье казалось вымершим.

Бесшумно, на цыпочках прокрался я к стулу возле постели, взял свечу Гиллеля и зажег ее.

Затем я соображал: железная дверь снаружи, на площадке, ведущая в ателье Савиоли, открывается только с той стороны.

Я схватил первый попавшийся крючковатый кусок проволоочки, который лежал на столе под моими гравировальными резцами. Такие замки легко открываются, стоит только нажать на пружину.

А что произойдет потом?

Это мог быть только Аарон Вассертрум, – соображал я, – он тут, может быть, роется в ящиках, чтобы найти новые доказательства и новые улики.

Что пользы, если я ворвусь туда?

Я не раздумывал долго: действовать, не думать! Только бы освободиться от этого страшного ожидания утра.

И я уже стоял перед железной дверью, нажимал на нее, осторожно вставил крючок в замок и слушал. Правильно: там, в ателье, осторожный шорох, как будто кто-то выдвигает ящик.

В следующее мгновение замок отскочил.

Я оглядел комнату и, хотя в ней было совершенно темно, а моя свечка едва мерцала, я увидел, как человек в длинном черном пальто в ужасе отскочил от письменного стола... Одну секунду он не знал, куда деваться, – сделал движение, будто хотел броситься на меня, потом сорвал с головы шляпу и быстро прикрыл ею лицо.

«Что вам здесь нужно?» хотел я крикнуть, но тот предупредил меня.

– Пернат! Это вы? Ради Бога! Тушите свечку. – Голос показался мне знакомым, но ни в коем случае не принадлежал старьевщику Вассертруму.

Я машинально задул свечу.

Слабый свет проникал в окно. В комнате было так же полутемно, как и в моей, и мне пришлось напрячь глаза, прежде чем я различил над пальто исхудавшее лицо студента Харусека.

«Монах», вертелось у меня на языке, и я сразу уразумел вчерашнее мое видение, в соборе: *Харусек! Вот человек, к которому мне следует обратиться!* Я снова услышал слова, произнесенные им когда-то, в дождливый день под воротами: «Аарон Вассертрум узнает, что можно отравленными, невидимыми иглами прокалывать стены. Как раз в тот день, когда он захочет погубить доктора Савиоли».

Имею ли я в лице Харусека союзника? Знает ли он, что случилось? Его пребывание здесь в такое необычное время как бы указывало на это, но я боялся все же поставить вопрос прямо.

Он поспешил к окну и взглянул через занавеску вниз, на улицу.

Я догадался: он боялся, как бы Вассертрум не заметил моей свечи.

– Вы думаете, вероятно, что я вор и роюсь ночью в чужой квартире, мастер Пернат, – начал он нетвердым голосом после долгого молчания, – но клянусь вам...

Я тотчас прервал и успокоил его.

И чтобы показать ему, что у меня не было никаких подозрений относительно него, что я скорее видел в нем союзника, я рассказал ему с некоторыми показавшимися мне необходимыми недомолвками, какое

отношение я имею к ателье, и что я опасаясь, как бы одна близкая мне дама не пала жертвой вымогательства со стороны старьевщика.

По деликатности, с какою он выслушал меня, не прерывая вопросами, я заключил, что он все отлично знает, хотя, может быть, и не во всех деталях.

– Так и есть, – задумчиво сказал он, когда я закончил.

– Значит, я не ошибался. Этот негодяй хочет погубить Савиоли, что ясно. Но очевидно, он еще не собрал достаточного количества материала. Иначе зачем бы он здесь шатался! Вчера как раз «случайно» я шел по Петушьей улице, – пояснил он, видя мое недоумевающее лицо, – и заметил, что Вассертрум, долго, как будто бесцельно, бродил внизу у ворот, а потом, думая, что его никто не видит, быстро прошмыгнул в дом. Я пошел за ним и сделал вид, что иду к вам, постучал в вашу дверь. Тут я застал его врасплох, он возился с ключом у железной двери. Разумеется, как только я подошел, он тотчас же отскочил от нее и тоже постучался к вам. Вас, впрочем, по-видимому, не было дома, потому что никто не открыл дверь.

Осторожно расспрашивая потом в еврейском квартале, я узнал, что некто, кто по описаниям мог быть только Савиоли, имел здесь тайную квартиру. Так как доктор Савиоли тяжело болен, я привел все остальное в связь.

– Видите, это все я нашел здесь в ящиках, чтоб, во всяком случае, предупредить Вассертрума, – заключил Харусек, указывая на пачку бумаг на письменном столе, – это все, что я мог найти здесь. Надо думать, что больше бумаг здесь нет. Во всяком случае, я обыскал все ящики и шкафы, насколько это можно было сделать в темноте.

Пока он говорил, я обводил глазами комнату и непроизвольно остановил взгляд на подъемной двери, находившейся в полу. Я смутно помнил, что Цвак как-то однажды рассказывал мне о тайном ходе снизу в ателье.

Это была четырехугольная доска с кольцом вместо ручки.

– Куда спрятать письма? – продолжал Харусек. – Вы, господин Пернат, и я – мы единственные во всем гетто, которых Вассертрум считает безвредными для себя; почему именно меня – это имеет свои особенные основания. (Я видел, как его лицо исказилось дикой ненавистью, когда он с яростью пробормотал последние слова). А вот вас он считает... – слово «сумасшедший» он как бы прикрыл

искусственным кашлем. Но я угадал, что он хотел сказать. Меня это не задело – сознание, что я должен помочь «ей», наполнило меня таким счастьем, что всякая обидчивость исчезла.

Мы сошлись на том, чтобы спрятать письма у меня, и перешли в мою комнату.

Харусек давно ушел, но я все еще не мог решиться лечь в постель. Мне мешало странное чувство внутреннего недовольства, которое грызло меня. Я чувствовал, что я еще должен что-то сделать, – но что? что?

Набросать для студента план того, что должно дальше произойти?

Этого было мало. Харусек уж проследит за старьевщиком, в этом никаких сомнений не было. Я ужасался, когда думал о ненависти, которую дышали его слова. Что ему собственно сделал Вассертрум?

Странное внутреннее беспокойство росло во мне и едва не повергло меня в отчаяние. Что-то невидимое, потустороннее звало меня, но я не понимал, что именно.

Я казался себе дрессированным жеребцом. Его дергают за уздцы, а он не знает, что он должен проделать, не понимает воли своего господина.

Сойти к Шемайе Гиллелю?

Все во мне протестовало.

Видение монаха, на плечах которого показалась голова Харусека, было как бы ответом на мою немую мольбу о совете, было как бы предупреждением не пренебрегать смутными чувствами: тайные силы выросли во мне уже давно, это было несомненно; я слишком ясно это сознавал, чтобы даже пытаться отвергнуть это.

Чувствовать буквы и читать их не только глазами, создать истолкователя немого языка человеческих инстинктов – вот ключ к тому, чтобы ясным языком говорить с самим собою.

«Они имеют глаза и не видят, они имеют уши и не слышат», – вспомнился мне библейский текст как подтверждение этому.

«Ключ! ключ! ключ!» – механически повторяли мои губы в то время, как разум мой комбинировал эти странные идеи.

«Ключ, ключ?..» – мой взгляд упал на кривую проволоку в моей руке, посредством которой я только что открывал дверь, и острое любопытство охватило меня – узнать, куда ведет четырехугольная подъемная дверь из ателье.

Не долго думая, я вернулся в ателье Савиоли. Потянул ручку подъемной двери, и с трудом мне удалось, наконец, поднять доску.

Сначала – только темнота.

Затем я увидел узкие круглые ступеньки, сбегаящие вниз в глубокую тьму.

Я стал спускаться.

Долго нащупывал я рукой стены, но им не было конца: углубления, влажные от гнили и от сырости, повороты, углы, изгибы, ходы вперед, направо и налево, обломки старых деревянных дверей, перекрестки, и затем снова ступени, ступени, ступени вверх и вниз.

Повсюду спертый, удушливый запах плесени и земли.

И все еще ни луча света.

Ах, если бы я захватил с собой свечку Гиллеля!

Наконец, ровная, гладкая дорога.

По хрусту под ногами, я понял, что ступаю по сухому песку.

Это мог быть только один из тех бесчисленных ходов, которые как будто без цели и смысла ведут подземным путем к реке.

Я не удивлялся: половина города уже с незапамятных времен стоит на таких подземных ходах, жители Праги издавна имели достаточно оснований бояться дневного света.

Несмотря на то, что я шел уже целую вечность, по отсутствию малейшего шума над головой я понимал, что все еще нахожусь в пределах еврейского квартала, который на ночь как бы вымирает. Оживленные улицы или площади надо мной дали бы знать о себе отдаленным шумом экипажей.

На мгновение меня охватил страх: что, если я не выберусь отсюда?

Попаду в яму, расшибусь, сломаю ногу и не смогу идти дальше?!

Что будет тогда с ее письмами в моей комнате? Они неизбежно попадут в руки Вассертрума.

Мысль о Шемайе Гиллеле, с которым я смутно связывая представление о защитнике и руководителе, незаметно успокоила меня. Из предосторожности все же я пошел медленнее, нащупывая путь и держа руку над головой, чтобы нечаянно не стукнуться, если бы свод стал ниже.

Время от времени, потом все чаще и чаще я доставал рукой до верха, и, наконец, свод спустился так низко, что я должен был

продолжать путь согнувшись.

Вдруг мои руки очутились в пустом пространстве.

Я остановился и огляделся.

Мне показалось, что с потолка проникает скудный, едва ощутимый, луч света.

Может быть, здесь кончался спуск в какой-нибудь погреб?

Я выпрямился и обеими руками стал ощупывать над головой четырехугольное отверстие, выложенное по краям кирпичом.

Постепенно мне удалось различить смутные очертания горизонтального креста. Я изловчился, ухватился за его концы, подтянулся и взлез наверх.

Я стоял теперь на кресте и соображал.

Очевидно, если меня не обманывает осязание, здесь оканчиваются обломки железной винтовой лестницы.

Долго, невероятно долго, нащупывал я, пока не нашел вторую ступеньку и не взлез на нее.

Всего было восемь ступеней.

Одна выше другой на человеческий рост.

Странно: лестница упиралась вверху в какую-то горизонтальную настилку, через переплет которой проходил свет, замеченный мною уже внизу.

Я нагнулся, как можно ниже, чтобы издали яснее различить направление линий, и, к моему изумлению, увидел, что они образовывали шестиугольник, какой обыкновенно встречается в синагогах.

Что бы это могло быть?

Вдруг я сообразил: это была подъемная дверь, которая по краям пропускала свет. Деревянная подъемная дверь в виде звезды!

Я уперся плечом в доску, поднял ее и тут же очутился в комнате, залитой ярким лунным светом.

Комната была небольшая, совершенно пустая, если не считать кучи хлама в углу, – единственное окно было загорожено частой решеткой.

Как старательно ни обыскивал я все стены, ни двери, ни какого-нибудь другого входа, кроме того, которым я только что воспользовался, я отыскать не мог.

Решетка окна была усеяна так тесно прутьями, что я не мог просунуть голову. Однако, вот что я увидел: комната находилась приблизительно на высоте третьего этажа, потому что дома напротив были двухэтажные и стояли ниже.

Один край улицы внизу был доступен взору, но из-за ослепительного лунного света, бившего прямо в глаза, он казался совершенно темным, и я не мог разглядеть деталей.

Во всяком случае, эта улица принадлежала к еврейскому кварталу: окна были или заложены кирпичом, или обозначены только карнизам, а лишь в гетто дома так странно обращены друг к другу спиной!

Тщетно пытался я сообразить, что это было за странное здание, в котором я очутился.

Может быть, это заброшенная боковая башенка греческой церкви? Или эта комната находилась в Староновой синагоге?

Но окружавшее не соответствовало этому.

Снова осмотрелся я – в комнате ничего, что могло бы дать мне хоть малейший намек на объяснение. Голые стены и потолок, с давно отвалившейся штукатуркой, ни дырочки от гвоздя, ни гвоздя, который бы указывал на то, что когда-то здесь жили люди.

Пол был покрыт толстым слоем пыли, как будто десятилетия уже никто не появлялся здесь.

Мне было противно разбираться в куче хлама. Она лежала в глубокой темноте, и я не мог различить, из чего она состояла.

С виду казалось, что это – тряпье, связанное в узел.

Или, может быть, несколько старых, черных чемоданов?

Я ткнул ногой, и мне удалось таким образом вытянуть часть хлама к полосе лунного света. Длинная темная лента медленно разворачивалась на полу.

Светящаяся точка глаза?..

Быть может, металлическая пуговица?

Мало-помалу мне стало ясно: рукав странного старомодного покроя торчал из узла.

Под ним была маленькая белая шкатулка или что-то в этом роде: она рассыпалась под моей ногой и распалась на множество пластинок с пятнами.

Я слегка толкнул ее: один лист вылетел на свет.

Картинка?

Я наклонился: пагад?

То, что мне казалось белой шкатулкой, была колода игральных карт.

Я поднял ее.

Могло ли быть что-либо комичнее: карты, здесь, в этом заколдованном месте.

Так странно, что я не мог не улыбнуться. Легкое чувство страха подкралось ко мне.

Я искал какого-нибудь простого объяснения, как могли эти карты очутиться здесь, при этом я механически пересчитал их. Полностью: 78 штук. И уже во время пересчитывания я заметил, карты были словно изо льда.

Морозным холодом веяло от них, и, зажав пачку в руке, я уже не мог выпустить ее, так заоченели пальцы. Снова я стал искать естественного объяснения.

Легкий костюм, долгое путешествие без пальто и без шляпы по подземным ходам, суровая зимняя ночь, каменные стены, отчаянный мороз, проникавший с лунным светом в окно: довольно странно, что я только теперь начал мерзнуть. До сих пор мешало этому возбуждение, обуявшее меня...

Дрожь пробежала по мне, все глубже и глубже она проникала в мое тело.

Я чувствовал холод в костях, точно они были холодными металлическими прутьями, к которым примерзло мое тело.

Я бегал по комнате, топал ногами, хлопая руками – ничто не помогало. Я крепко стиснул зубы: чтоб не слышать их скрежета.

Это смерть, подумал я, она касается холодными руками моего затылка.

И, как безумный, я стал бороться с подавляющим сном замерзания; мягко и удушливо покрывал он меня, как плащом.

Письма в моей комнате, – ее письма! раздался во мне какой-то вопль. Их найдут, если я здесь умру. А она надеется на меня. Моим рукам она доверила свое спасение!

– Гиллель! Гибну! Гибну! Помогите!

И я кричал в оконную решетку вниз, на пустынную улицу, а оттуда слышалось эхом: «Помогите, помогите, помогите!»

Я бросался на землю и снова вскакивал. Я не смею умереть, не смею! Ради нее, только ради нее! Хотя бы пришлось высекать искры из своих собственных костей, чтобы согреться.

Мой взгляд упал на тряпье в углу, я бросился к нему и дрожащими руками накинул что-то поверх своей одежды.

Это был обтрепанный костюм из толстого темного сукна, старомодного, очень странного покроя.

От него несло гнилью.

Я забился в противоположный угол и чувствовал, как моя кожа постепенно согревается. Но страшное ощущение ледяного скелета внутри моего тела не покидало меня. Я сидел без движения, блуждая взором: карта, которую я раньше заметил – пагад – все еще лежала среди комнаты в полосе лунного света.

Я смотрел на нее, не отрываясь.

Насколько я мог видеть, она была раскрашена акварелью, неопытной детской рукой, и изображал еврейскую букву «алеф» в виде человека в старофранконском костюме, с коротко остриженной седой острой бородкой, с поднятой левой рукой и опущенной правой.

Не имеет ли лицо этого человека странного сходства с моим? – зашевелилось у меня подозрение. Борода так не шла к пагаду... Я подполз к карте и швырнул ее в угол к прочему хламу, чтоб освободиться от мучительной необходимости смотреть на нее.

Так лежала она светло-серым, неопределенным пятном, просвечивая из темноты.

Я с трудом заставил себя подумать о том, что бы такое предпринять для возвращения домой.

Ждать утра! Кричать на улицу прохожим, чтобы они при помощи лестницы подали мне свечу или фонарь!.. (у меня появилась тяжелая уверенность в том, что без света я не проберусь по бесконечно пересекающимся ходам). Или, если окно слишком высоко, чтоб кто-нибудь с крыши по веревке?.. Господи! – точно молния пронзила меня мысль, – теперь я знаю, где я нахожусь, *комната без входа только с одним решетчатым окном*, старинный дом на Старосинагогальной улице, всеми избегаемый. Однажды, много лет тому назад, уже кто-то пытался спуститься по веревке с крыши, чтобы заглянуть в окно – веревка оборвалась и – да: я был в том доме, куда обычно исчезал таинственный Голем!..

Я напрасно боролся с тяжелым ужасом, даже воспоминание о письмах не могло его уменьшить. Он парализовал всякую мысль, и сердце мое стало сжиматься.

Быстро шепнул я себе застывавшими губами: ведь это, пожалуй, ветер так морозно повеял из-за угла. Я повторял себе это все быстрее и быстрее со свистящим дыханием. Но ничто не помогало. Там это белесоватое пятно... карта... Она разрасталась, захватывая края лунного света, и уползала опять в темноту... звуки, точно падающие капли, не то в мыслях, не то в предчувствиях, не то наяву... в пространстве, и вместе с тем где-то в стороне, и все-таки где-то... в тайниках моего сердца и затем опять в комнате... Эти звуки проснулись, точно падает циркуль, но острие его еще в дереве. И снова белесоватое пятно... белесоватое пятно!.. «Ведь это карта, жалкая, глупая карта, идиотская игральная карта», – кричал я себе... Напрасно...

Но вот он... вот он облекается плотью...

Пагад... забивается в угол и оттуда смотрит на меня моим собственным лицом.

Долгие часы сидел я здесь, съезжившись, неподвижно, в своем углу – закованный скелет в чужом истлевшем платье! И он там: он – это я.

Молча и неподвижно.

Так смотрели мы друг другу в глаза – один жуткое отражение другого. Видит ли он, как лунный свет лениво и медлительно ползет по полу и, точно стрелка невидимых в беспредельности часов, взбирается по стене и становится все бледнее и бледнее. .

Я крепко пригвоздил его своим взглядом, и ему не удавалось расплыться в утренних сумерках, несших ему через окно свою помощь.

Я держал его крепко.

Шаг за шагом отстаивал я мою жизнь, жизнь, которая уже принадлежала не мне.

И когда он, делаясь все меньше и меньше в свете утренней зари, снова влез в свою карту, я встал, подошел к нему и сунул его в карман – пагада.

Улица все еще безлюдна и пустынна.

Я перерыл угол комнаты, облитой мутным утренним светом: горшок, заржавленная сковородка, истлевшие лохмотья, горлышко от бутылки. Мертвые предметы и все же так странно знакомые.

И стены – на них вырисовывались трещины и выбоины, – где только я все это видел?

Я взял в руку колоду карт – мне померещилось: не я ли сам разрисовывал их когда-то? Ребенком? Давно, давно?

Это была очень старая колода с еврейскими знаками... Номер двенадцатый должен изображать «повешенного»; – пробежало во мне что-то вроде воспоминания. – Головой вниз?.. Руки заложены за спину?.. Я стал перелистывать: вот! Он был здесь.

Затем снова полусон-полуявь, передо мной встала картина: почерневшее школьное здание, сгорбленное, покосившееся, угрюмое, дьявольский вертеп с высоко поднятым левым крылом и с правым, вросшим в соседний дом... Нас несколько подростков – где-то всеми покинутый погреб...

Затем я посмотрел на себя и снова сбился с толку: старомодный костюм показался мне совсем чужим...

Шум проезжавшей телеги испугал меня. Я посмотрел вниз – ни души. Только большая собака стояла на углу неподвижно.

Но вот! Наконец! Голоса! Человеческие голоса!

Две старухи медленно шли по улице. Я, сколько можно было, высунул голову через решетку и окликнул их.

С разинутыми ртами посмотрели они вверх и начали совещаться. Но, увидев меня, они с пронзительным криком бросились бежать.

«Они приняли меня за Голема», – сообразил я.

Я ожидал, что сбегутся люди, с которыми я мог бы объясниться. Но прошел добрый час, и только с разных сторон осторожно посматривали на меня бледные лица и тотчас же исчезали в смертельном ужасе.

Ждать, пока через несколько часов, а может быть и завтра, придут полицейские – ставленники государства (как обычно называл их Цвак)?

Нет, лучше уж попробую проследить подальше, куда ведут подземные ходы.

Может быть, теперь, при дневном свете, сквозь трещины в камнях пробивается вниз хоть сколько-нибудь света?

Я стал спускаться по лестнице, шел той дорогой, которой пришел вчера – по грудам сломанных кирпичей, сквозь заваленные погребка – набрел на обломки лестницы, и вдруг очутился в сенях... почерневшего школьного здания, только что виденного мною во сне.

Тут налетел на меня поток воспоминаний, скамейки, сверху до низу закапанные чернилами, тетради, унылый напев, мальчик, выпускавший майских жуков в класс, учебники с раздавленными между страниц бутербродами, запах апельсиновых корок. Теперь я был уверен: когда-то, мальчиком, я был здесь. Но я не терял времени на размышления и поспешил домой...

Первым человеком, которого я встретил на улице, был высокий, старый еврей с седыми пейсами. Едва он заметил меня, он закрыл лицо руками и стал, выкрикивая, читать слова еврейской молитвы.

По-видимому, на его крик выбежало из своих жилищ много народу, потому что позади меня поднялся невообразимый гул. Я обернулся и увидел огромное, шумное скопление смертельно бледных, искаженных ужасом лиц.

Я с изумлением перевел глаза на себя и понял: на мне все еще был, поверх моей одежды, странный средневековый костюм, и люди думали, что перед ними «Голем».

Быстро забежал я за угол в ворота и сорвал с себя истлевшие лохмотья.

Но тотчас же толпа, с поднятыми палками, с криком пронеслась мимо меня.

Х. Свет

Несколько раз в течение дня я стучался к Гиллелю, – я не находил себе покоя: я должен был поговорить с ним и спросить, что означали все эти необыкновенные события, – но его все не было дома.

Его дочь сейчас же даст мне знать, как только он вернется из еврейской ратуши.

Странная девушка, между прочим, эта Мириам!

Тип, какого я еще никогда не встречал.

Красота такая особенная, что с первого взгляда ее нельзя уловить; красота, от которой немеешь, когда взглянешь на нее, она пробуждает необъяснимое чувство легкой робости.

По закону пропорций, затерявшемся в глубине веков, было создано это лицо, соображал я, воссоздавая его перед собой с закрытыми глазами.

И я думал о том, какой бы камень мне выбрать, чтобы вырезать на нем камею и при этом сохранить художественность выражения, но затруднения возникали в простых внешних деталях, в черно-синем отблеске волос и глаз, не сравнимых ни с чем... Как же тут врезать в камею неземную тонкость лица, весь его духовный облик, не впадая в тупоумное стремление к сходству согласно требованиям теоретического канона.

Только мозаикой можно добиться этого, ясно понял я – но какой избрать материал? Целую жизнь пришлось бы искать подходящего...

Куда же девался Гиллель?

Я тосковал по нему, как по старому любимому другу.

Поразительно, как сроднился я с ним в несколько дней. А ведь, собственно говоря, я только раз в жизни с ним говорил.

Да, вот в чем дело: необходимо получше припрятать письма, ее письма, чтобы быть спокойнее, если бы мне опять пришлось надолго отлучиться из дому.

Я вынул их из ящика: в шкатулке будет вернее.

Из кучи писем выпала фотография. Я не хотел смотреть, но было уже поздно.

В бархате на обнаженных плечах – такая, какой я видел ее в первый раз, когда она вбежала ко мне в комнату из ателье Савиоли,

взглянула она мне в глаза.

Безумная боль сверлила меня. Я прочел, не понимая слов, надпись на карточке и имя:

«Твоя Ангелина».

Ангелина!!!

Как только я произнес это имя, завеса, отделявшая от меня годы юности, разорвалась сверху донизу.

Мне казалось, что я не вынесу скорби. Я ломал себе пальцы, стонал, кусал себе руки, только бы снова исчезнуть. – Господи, только бы жить в летаргическом сне, как до сих пор! – умолял я.

Боль переполняла меня, разливалась по мне. Я ощущал ее во рту, странной сладостью, как кровь... Ангелина!!..

Имя это кружилось в крови и переходило в какую-то невыносимо прозрачную ласку.

Невероятного усилия стоило мне прийти в себя и заставить себя, скрежеща зубами, смотреть на портрет, пока я его не одолел.

Пока не одолел!

Как сегодня ночью игральную карту.

Наконец: шаги! Мужские шаги.

Он пришел!

Я в восторге бросился к двери и распахнул ее.

Перед ней стоял Шемайя Гиллель, а за ним – я упрекнул себя в том, что был этим раздосадован, – с розовыми щечками и с круглыми детскими глазами, стоял старый Цвак.

– Я с радостью вижу, что вы вполне здоровы, майстер Пернат, – начал Гиллель.

Холодное «Вы»?

Мороз. Пронизывающий, мертвящий мороз водворился вдруг в комнате.

Оглушенный, я только наполовину слышал слова, которыми, задыхаясь от возбуждения, Цвак засыпал меня.

– Вы знаете, что Голем появился снова? Только что мне рассказывали о нем, вы еще не знаете, Пернат? Весь еврейский квартал взбудоражен. Фрисландер сам видел его, Голема. И, как всегда, это опять началось с убийства. – (Я насторожился – «убийства»?).

Цвак теребил меня: – Вы ничего не знаете об этом, Пернат? На всех улицах расклеено воззвание полиции: толстый Цоттман, масон,

ну, словом, я говорю про директора страхового общества, убит... Лойза... тут в доме уже арестован. Рыжая Розина бесследно пропала... Голем... Голем... тут волосы встанут дыбом.

Я ничего не ответил и смотрел в глаза Гиллелю: почему он так пристально глядел на меня?

Сдержанная улыбка заиграла вдруг в уголках его губ.

Я понял. Она относилась ко мне.

Броситься бы ему на шею.

Вне себя от восторга, я без толку бегал по комнате. Что бы ему принести? Стаканы? Бутылку бургундского? (У меня была только одна). Сигары? Наконец, я нашел слова:

– Отчего же вы не садитесь!?! – Быстро подал я стулья обоим друзьям...

Цвак начал сердиться:

– Почему вы все улыбаетесь, Гиллель? Вы не верите, что Голем появился. Кажется, вообще вы не верите в Голема?!

– Я бы не поверил в него, если бы он даже предстал передо мной в этой комнате, – спокойно ответил Гиллель, бросая взгляд на меня.

(Я понял двусмысленность его слов.) Цвак в изумлении поставил стакан с вином:

– Свидетельство сотни людей для вас, Гиллель, ничего не значит? Но подождите, Гиллель, запомните мои слова: убийство за убийством пойдут теперь в еврейском городе! Я знаю это. За Големом всегда такая страшная свита событий.

– Совпадение одинаковых событий не включает в себе ничего чудесного, – возразил Гиллель. Он говорил, расхаживая, подошел к окну и посмотрел вниз на лоток старьевщика. – Когда веет теплый ветер, это чувствуют и корни, и сладкие корни и ядовитые. – Цвак весело подмигнул мне и кивнул головой в сторону Гиллеля.

– Если бы только рабби захотел, он бы рассказал нам такие вещи, что у нас волосы стали бы дыбом, – вполголоса заметил он.

Шемайя обернулся.

– Я не рабби, хотя и мог бы называть себя этим именем. Я только ничтожный архивариус ратуши и веду регистрацию живых и мертвых.

Тайный смысл был в этих словах, почувствовал я. И марионеточный актер, казалось, бессознательно понял это, – он замолчал и некоторое время никто из нас не произнес ни слова...

– Послушайте, рабби, простите, я хотел сказать: господин Гиллель, – снова заговорил Цвак через несколько минут, и голос его звучал необычайно серьезно. – Я уже давно хотел кой о чем спросить вас. Вы мне не отвечайте, если не хотите или не можете...

Шемайя подошел к столу и начал играть стаканом вина – он не пил; может быть, ему запрещал это еврейский закон.

– Спрашивайте спокойно, господин Цвак.

– Знаете ли вы что-нибудь о еврейском тайном учении, о Каббале, Гиллель?

– Очень мало.

– Я слышал, что существует источник, по которому можно изучить Каббалу: «Зогар»...

– Да, Зогар – Книга Сияния.

– Видите, вот оно, – вырвалось у Цвака, – ведь это вопиющая несправедливость, что книга, которая содержит, по-видимому, ключи к пониманию Библии и к блаженству...

Гиллель перебил его:

– Только несколько ключей...

– Хорошо, пусть, пусть несколько ключей. И вот эта книга, из-за ее высокой цены и редкости, доступна только богатым. Имеется лишь один единственный экземпляр, да и то в лондонском музее, как мне рассказывали? При этом она написана по-халдейски, по-арамейски, по-еврейски – и Бог еще знает, на каких других языках! Ну, имел ли я когда-нибудь в жизни возможность изучить эти языки или съездить в Лондон?

– А вы действительно горячо и сильно стремились к этому? – спросил Гиллель с легкой усмешкой.

– Откровенно говоря, нет, – ответил Цвак, несколько смутившись.

– Тогда вы не должны жаловаться, – сухо сказал Гиллель. – *Кто не ловит знания каждым атомом своего существа*, как задыхающийся – воздух, тот не может уразуметь тайн Господних.

«Должна же быть еще книга, в которой не несколько ключей, а все ключи к загадкам иного мира», – пронеслось у меня в голове, причем рукой я все время машинально теребил пагада, который лежал еще у меня в кармане; но не успел еще я облечь свою мысль в слова, как Цвак ее уже выразил.

У Гиллеля снова появилась улыбка сфинкса: – *Каждый вопрос, рождающийся в человеке, получает свой ответ в то мгновение, когда он поставлен его духом.*

– Вы понимаете, что он хочет этим сказать? – обратился ко мне Цвак.

Я ничего не ответил и затаил дыхание, чтоб не пропустить ни одного слова Гиллеля.

Шемайя продолжал.

– Вся жизнь не что иное, как ряд вопросов, принявших форму и несущих в себе зародыши ответов, и ряд ответов, чреватых новыми вопросами. Кто видит в ней нечто другое, тот глуп.

Цвак ударил кулаком по столу.

– Ну да, вопросы, которые каждый раз звучат по-новому, и ответы, которые каждый понимает по-своему.

– Именно так, – ласково сказал Гиллель – Лечить всех людей из одной ложки – это привилегия врачей. Вопрошающий получает тот ответ, *который ему нужен, иначе люди не шли бы по путям своих стремлений.* Вы думаете, что наши еврейские книги просто по прихоти написаны только согласными буквами? Каждый должен *для самого себя* подыскать к ним тайные гласные, которые открывают только ему одному *понятный смысл* – иначе живое слово обратилось бы в мертвую догму.

Марионеточный актер горячо оборонялся.

– Это, рабби, только слова, слова. Пусть меня назовут «*ragad ultimo*», если я тут хоть что-нибудь пойму.

«Пагад!!!» Это слово ударило в меня молнией. Я едва не упал со стула от страха.

Гиллель не смотрел на меня.

– «*Рagad ultimo?*» Кто знает, не зовут ли вас в действительности так, господин Цвак, – точно издали донеслись до меня слова Гиллеля. – Не следует никогда быть слишком уверенным в своем деле. Кстати, вот вы заговорили о картах: господин Цвак, вы играете в тарок?

– В тарок? Разумеется. С детских лет.

– В таком случае меня удивляет, как вы спрашиваете о книге, в которой заключена вся Каббала, если вы сами тысячу раз держали ее в руках.

– Я? Держал в руках? – Цвак схватился за голову.

– Да, да, вы. Вам никогда не приходило в голову, что в колоде тарочной игры 22 козыря – ровно столько, сколько букв в еврейском алфавите? Да и в наших богемских картах не достаточно разве явно символических фигур: дурак, смерть, черт, страшный суд? Уж слишком, милый друг, вы хотите, чтоб жизнь кричала вам на ухо ответы.

Вы, конечно, можете не знать, что «tarok» или «tarot» значит то же самое, что еврейское «Тора» – закон, или древнеегипетское «tarut» – вопрошаемый, или архаическое зендское «tarisk» – «я требую ответа». Но ученые должны были бы это знать, прежде чем утверждать, что тарок появился в эпоху Карла Шестого. И точно так же, как пагад является первой картой в колоде, так и человек – первая фигура в своей собственной книжке с картинками, свой собственный двойник: еврейская буква «алеф», воспроизводящая форму человека, указывает одной рукой на небо, другой вниз, это значит: то, что наверху, то и внизу, то, что внизу, то и наверху. Поэтому я и сказал раньше: кто знает, действительно ли вас зовут Цвак, а не «пагад».

Не протестуйте против этого. (Гиллель пристально посмотрел на меня, и я понял, что за его словами открывается бездна все новых смыслов.) Не протестуйте против этого, господин Цвак. Тут можно попасть в темные проходы, откуда еще никто без талисмана не вышел. Существует предание, что однажды три человека спустились в царство тьмы, один сошел с ума, другой ослеп, и только третий, Рабби-бен-Акиба, вернулся невредимым и рассказал, что он встретил самого себя. Вы скажете, что многие, например, Гете, *встречали самих себя*, обычно на мосту или вообще на какой-нибудь перекладине, переброшенной с одного берега на другой, смотрели сами себе в глаза и не помешались. Но это была только игра собственного сознания, а не настоящий двойник: не то, что называют «дыхание костей», «habal garmin», о котором сказано: *«как нетленным он сошел в могилу, в костях, так и восстанет он в день последнего суда»*. (Взгляд Гиллеля впивался все глубже в мои глаза.) Наши бабушки говорят о нем: «Он живет высоко над землей *в комнате без дверей с одним только окном*, через которое невозможно столкнуться с людьми. Кто сможет справиться с ним и... облагородить его, тот будет в мире с самим собой...» Что же касается, в заключение, тарока, то вы знаете не хуже

меня, что у каждого из игроков карты выпадают по-иному, но тот, кто правильно использует козыри, тот выиграет партию. Но пойдете, господин Цвак! Пойдете, не то вы выпьете все вино мастера Перната, и для него самого ничего не останется...

XI. Нужда

За моим окном бушевала снежная вьюга. Полками проносились снежные звездочки-солдатики в белых пушистых плащах, один за другим, все мимо, целые минуты все в том же направлении, словно в панике убегая от исключительно жестокого противника. Но вдруг прекращали они свое бегство, впадали в ярость по непонятным причинам, снова уносились назад, но сверху и снизу окружали их свежие вражеские армии, и все вместе превращались в безнадежный вихрь.

Казалось мне, что уже месяцы прошли после этих столь недавних и столь странных событий, и не будь ежедневных, новых пестрых слухов о Големе, постоянно меня волновавших, я мог бы в минуты сомнений заподозрить, не сделался ли я жертвой какого-нибудь душевного помрачения.

Из пестрых арабесок, что рисовали вокруг меня события, выступало в кричащих красках все то, что рассказал мне Цвак о загадочном убийстве, так называемого, «масона».

Причастность рябого Лойзы к этому делу представлялась мне неправдоподобной, хотя я не мог освободиться от смутного подозрения: почти непосредственно вслед за тем, как в ту ночь Прокопу послышался страшный крик из водостока, мы встретили юношу у Лойзичек.

Да, в сущности, и не было никаких оснований считать крик изпод земли, только, вероятно, померещившийся мне, криком о помощи.

Снежный вихрь ослепил меня, и все заплясало передо мной. Я снова направил свое внимание на камею: лежавшую передо мною восковую модель, которую я вылепил с лица Мириам лучше всего было перенести на голубоватый, блестящий лунный камень. Я обрадовался: это было счастьем, что среди моих запасов нашелся такой подходящий материал. Глубоко черные жилки роговой оболочки придавали камню подходящий отблеск, а очертания были таковы, как будто природа сама пожелала навеки закрепить тонкий профиль Мириам.

Сперва я хотел вырезать из него камню с египетским богом Озирисом и с видением Гермафродита из книги «Ibbur», так исключительно мне памятной, – к этому толкало меня влечение художника. Но постепенно, едва я касался камня резцом, я замечал в нем такое сходство с дочерью Шемайи Гиллея, что я решил отказаться от первоначального намерения...

Книга «Ibbur»!!

В волнении отодвинул я резец... Непостижимо, сколько произошло в моей жизни на протяжении такого короткого промежутка времени. Точно внезапно перенесенный в необозримую пустыню, почувствовал я сразу глубокое, невероятное одиночество, отделявшее меня от людей.

Мог ли я с кем бы то ни было из друзей, кроме Гиллея, говорить о том, что я пережил?

Хотя в тихие часы последних ночей ко мне вернулось воспоминание о невыразимой жажде чудесного, лежащего по ту сторону брэнного мира, о жажде чудесного, терзавшей меня с самого раннего детства – однако, исполнение моей мечты налетело на меня с внезапностью бури и яростно заглушило ликующий крик моей души.

Я пугался минуты, когда приду в себя и почувствую все случившееся в его жгучей реальности, как настоящее.

Только бы не сейчас! Сперва испытать наслаждение видеть, как нисходит на меня невыразимое сияние.

Это было в моей власти! Надо было только войти в спальню, Открыть шкапулку, где лежала книга «Ibbur», подарок невидимого существа.

Давно ли коснулась ее моя рука, когда я клал туда письма Ангелины?!

Снаружи слышится смутный гул, порывы ветра сбрасывают с крыш накопившиеся там снежные глыбы. Потом глубокая тишина, снежный покров мостовой заглушает все звуки.

Я хотел было продолжать работу, но вдруг – звон металлических подков внизу, на улице, с летящими из-под них искрами.

Открыть окно, чтобы посмотреть, было невозможно: морозные объятия льда скрепляли его края твердым цементом, и стекла до половины были занесены снегом. Я видел только, что Харусек, по-

видимому, мирно стоял со старьевщиком Вассертрумом. Не вели ли они между собой беседу? Я видел, как на их лицах обозначилось изумление, как оно росло, и как они безмолвно уставились, очевидно, в экипаж, только что прокативший мимо.

Это муж Анжелины! – мелькнуло у меня в голове. Не могла же это быть она сама. В своем экипаже появиться здесь, на Петушьей улице, у всех на глазах – это было бы подлинным безумием. Но что сказать ее мужу, если это он, и если он станет задавать мне вопросы?

Отрицать, конечно, отрицать.

Я поспешно стал сопоставлять возможности: это мог быть только ее муж; он получил анонимное письмо от Вассертрума о том, что она была здесь на свидании. Она же выдумала какую-нибудь отговорку, например, она заказала у меня камею или что-нибудь в этом роде... Вдруг яростный стук в дверь – и передо мной Анжелина.

Она не могла произнести ни слова, но по выражению ее лица я понял все: ей больше незачем было скрываться. Песенка спета.

Но что-то во мне протестовало против такого предположения, мне не хотелось поверить, что я обманулся в своей надежде ей помочь.

Я подвел ее к креслу. Молча гладил ее волосы, и она в изнеможении, как ребенок, спрятала голову у меня на груди.

Мы слушали треск горевших дров в печке и смотрели, как красный отблеск на полу появлялся и угасал... появлялся и угасал... появлялся и угасал...

«А где сердечко из коралла?..» – звучало во мне. Я встрепенулся: где я? Сколько времени она уже сидит здесь?

И я стал расспрашивать ее – осторожно, тихо, совсем тихо, чтобы не взволновать ее, чтоб не коснуться терзавшей ее раны.

Отрывками я разузнал все, что мне нужно было, и все это сложилось во мне, как мозаика.

– Ваш муж знает?..

– Нет, еще нет, он уехал.

Так что стоит вопрос о жизни Савиоли – Харусек правильно разгадал. И именно потому, что дело касалось жизни Савиоли, а не ее, она была здесь. Она больше не думает скрывать что бы то ни было, решил я.

Вассертрум был еще раз у Савиоли. Угрозами и силой добрался до его постели.

– А дальше, дальше! Чего он хотел от него?

Чего он хотел. Она наполовину угадала, наполовину узнала: он хотел, чтобы... он хотел, чтобы доктор Савиоли покончил с собой.

Она знала причину дикой, бессмысленной ненависти Вассертрума: доктор Савиоли когда-то довел до самоубийства его сына, окулиста Вассори.

Молнией мелькнула мысль: сбежать вниз, выдать все старьевщику, сказать ему, что удар нанес Харусек, исподтишка, а не Савиоли, который был только орудием.... «Предательство! Предательство!» – шумело у меня в мозгу. – «Ты хочешь обрушить месть этого негодяя на бедного чахоточного Харусека, который хотел помочь тебе и ей». Меня разрывало на части. Затем спокойная, холодная, как лед, мысль, продиктовала мне решение: «Дурак! Все, ведь, в твоих руках. Стоит только взять напильник, там на столе, сбежать вниз и всадить его старьевщику в горло, так, чтобы конец его вышел сзади у затылка».

Из сердца рвался вопль благодарственной молитвы Богу...

Я снова спрашивал:

– А доктор Савиоли?

Он, несомненно, наложит на себя руки, если она не спасет его.

Сестры милосердия не спускают с него глаз, вприснули ему морфий, но он может вдруг очнуться – может быть, как раз вот теперь, и... и... нет, нет, нет, она должна идти, не должна больше терять ни секунды. Она напишет мужу, признается во всем – пусть он заберет у нее ребенка, но зато будет спасен Савиоли. Этим она вырвет из рук Вассертрума его единственное имеющееся у него оружие, которым он угрожает.

Она сама должна раскрыть тайну, прежде чем тот предаст ее.

– Этого вы не сделаете, Ангелина! – вскрикнул я и подумал о напильнике. Больше ничего я не мог выговорить от восторженной уверенности в своем могуществе.

Ангелина намеревалась уйти; я настойчиво удерживал ее.

– Еще одно только. Подумайте: неужели ваш муж поверит старьевщику так, на слово?

– У него есть доказательства, по-видимому, мои письма, может быть, и портрет – все, что было в письменном столе здесь, в ателье.

Письма? Портрет? Письменный стол? – я уже не соображал, что я делаю. Я прижал Ангелину к своей груди и целовал ее. В губы, в лоб, в глаза.

Ее светлые волосы закрыли мне лицо золотой вуалью.

Затем я взял ее за тонкие руки и в торопливых выражениях рассказал ей, что один смертельный враг Вассертрума, бедный студент-чех извлек из стола все, что там было, все это находится у меня в полной сохранности.

Она бросилась мне на шею, смеясь и рыдая. Поцеловала меня. Бросилась к двери. Вернулась и снова поцеловала меня.

Затем исчезла.

Я стоял, как оглушенный, и все еще чувствовал на лице дыхание ее уст.

Я услышал шум колес по мостовой и бешеный галоп копыт. через минуту все стало тихо. Как в гробу.

И во мне тоже.

Вдруг у меня за спиной скрипнула дверь – и в комнате стоял Харусек.

– Простите, господин Пернат, я долго стучался, но вы, по-видимому, не слышали.

Я молча кивнул головой.

– Надеюсь, вы не думаете, что я помирился с Вассертрумом, хотя вы видели, как я с ним недавно разговаривал? – (по насмешливой улыбке Харусека, я понял, что это только злая шутка). – Вы должны знать: счастье улыбается мне, майстер Пернат, эта каналья начинает ко мне привязываться. Странная это вещь – голос крови, – тихо прибавил он как бы про себя.

Я не понял, что он хотел этим сказать, и подумал, что мне что-то послышалось. Только что испытанное волнение еще дрожало во мне.

– Он хотел подарить мне пальто, – громко продолжал Харусек. – Я, конечно, с благодарностью отказался. С меня хватит и собственной кожи... Кроме того, он навязывал мне деньги.

«Вы приняли?!» – едва не вырвалось у меня, но я быстро прикусил язык.

На щеках студента появились круглые красные пятна.

– Это, разумеется, я принял.

У меня помутилось в голове.

– При-няли? – пробормотал я.

– Я никогда не думал, что человек может испытать такую совершенную радость! – (Харусек остановился на минуту и скорчил гримасу). – Разве это не высокое наслаждение видеть, как в мироздании заботливо и мудро распоряжаются попечительные персты Провидения? (Он говорил, как пастор, побрякивая деньгами в кармане). Воистину я считаю высоким долгом вознести на вершины благодетельства Сокровище, вверенное мне милостивой рукой.

Что он – пьян? Или помешался?

Вдруг Харусек переменил тон.

– Какая дьявольская ирония в том, что Вассертрум сам заплатил за свое лекарство. Вы не согласны?

Я стал смутно подозревать, что скрывается за словами Харусека, и мне сделалось жутко от его лихорадочных глаз.

– Впрочем, оставим это пока, майетер Пернат. Закончим пока текущие дела. Эта дама ведь – *она*? Как это ей пришло в голову открыто приехать сюда?

Я рассказал Харусеку, что случилось.

– Вассертрум, безусловно, не располагает никакими уликами, – радостно перебил он меня, – иначе он не стал бы сегодня утром снова шарить в ателье. Странно, что вы не слышали этого. Целый час он был там наверху.

Я удивился, откуда он все так точно знает, и не скрыл этого от него.

– Разрешите? – он взял со стола папироску, закурил и стал объяснять. – Видите ли, если вы сейчас откроете дверь, то сквозной ветер, дующий в коридоре, понесет туда табачный дым. Это, пожалуй, единственный закон природы, в точности известный господину Вассертруму. На всякий случай он в стене ателье, выходящей на улицу, – вы знаете ведь, что дом принадлежит ему, – сделал маленькую незаметную отдушину, что-то вроде вентиляции, а там красный флажок. Когда кто-нибудь входит или выходит из комнаты, открывает дверь, Вассертрум видит это снизу по колебанию лоскутка. Разумеется, знаю об этом и я, – сухо продолжал Харусек, – когда мне нужно, я отлично могу наблюдать за этим из погреба напротив, где милостивая судьба благосклонно отвела мне помещение. Милая шутка

с вентиляцией, хотя и выдумка достойного патриарха, но и мне уже известна несколько лет.

– Какая у вас должна быть нечеловеческая ненависть к нему, что вы так караулите каждый его шаг! И к тому же издавна, как вы говорите, – сказал я.

– Ненависть? – Харусек судорожно улыбнулся. – Ненависть? Ненависть, этого недостаточно. Слово, которое могло бы выразить мое чувство к нему, надо еще придумать. Да и ненавижу я по существу не его. Я ненавижу его кровь. Вы понимаете? Я, как дикий зверь, чую малейшую каплю такой крови в любом человеке... А это, – он заскрежетал зубами, – это иногда случается в гетто. – От возбуждения он был не в состоянии говорить дальше, он подбежал к окну и посмотрел вниз. Я слышал, как он подавил приступ кашля. Мы оба некоторое время молчали.

– Да что это такое? – вдруг встрепенулся он и поманил меня окну. – Скорей! Нет ли у вас бинокля или чего-нибудь в этом роде?

Мы осторожно из-за занавески смотрели вниз.

Глухонемой Яромир стоял у входа в лавочку старьевщика и предлагал, насколько мы могли понять из его жестов, Вассертруму купить какой-то маленький блестящий предмет, который он, как бы пряча, держал в руках. Вассертрум набросился на него, как ястреб, и унес вещицу в свою берлогу.

Потом он снова появился смертельно бледный и схватил Яромира за ворот; завязалась жестокая борьба. Вдруг Вассертрум выпустил его и как будто задумался. Он ожесточенно грыз свою заячью губу. Бросил испытующий взгляд на нас и дружественно увлек Яромира в свою лавку.

Мы ждали добрых четверть часа; они, по-видимому, никак не могли заключить сделки.

Наконец, глухонемой с довольной миной вышел оттуда и пошел своею дорогой.

– Что вы скажете на это? – спросил я. – Как будто ничего особенного. Очевидно, несчастный мальчик обращал в деньги какую-нибудь выпрошенную вещь.

Студент ничего не ответил и молча вернулся к столу.

Очевидно, и он не придавал большого значения происшествию; после паузы он продолжал.

– Да. Так я сказал, что ненавижу его *кровь*. Остановите меня, мастер Пернат, если я снова начну горячиться. Я хочу оставаться хладнокровным. Я не должен так расточать лучшие свои чувства. А то потом меня берет отрезвление. Человек с чувством стыда должен говорить спокойно, не с пафосом, как проститутка, или – или поэт. С тех пор, как мир стоит, никому бы не пришло в голову «ломать руки» от горя, если бы актеры не присвоили этому жесту такого пластического характера.

Я понял, что он намеренно говорит о чем попало, чтобы успокоиться.

Это, однако, ему не удавалось. Он нервно бегал по комнате, хватал в руки всевозможные вещи и рассеянно снова ставил их на свое место.

Затем вдруг он снова оказался в разгаре своих рассуждений.

– Малейшее произвольное движение выдает мне в человеке эту кровь. Я знаю детей, похожих на него; они считаются его детьми, но они совсем другой породы. Здесь я не могу обмануться. Долгие годы я не знал, что доктор Вассори его сын, но я, так сказать, чуял это.

Еще маленьким мальчиком, не подозревая того, какое отношение имеет ко мне Вассертрум, – его испытующие глаза на мгновение остановились на мне, – и у меня уже был этот дар. Меня топтали ногами, меня били, на моем теле не осталось места, которое не знало бы, что такое ноющая боль, морили меня голодом и жаждой до того, что я, почти обезумев, стал грызть землю, но никогда я не мог ненавидеть моих мучителей. Я просто *не мог*. Во мне не было места для ненависти. Вы понимаете? И все же мое существование было насквозь пропитано ею.

Никогда Вассертрум не сделал мне ничего дурного, это значит, что он никогда не бил и даже не ругал, когда я мальчишкой шатался здесь: я знаю это отлично, однако, кипевшие во мне жажда мести и бешенство были направлены целиком на него. Только на него!

Замечательно, что я тем не менее даже ребенком не выкинул против него ни одной злой штуки. Когда другие делали это, я отходил в сторону. Но я мог часами стоять в воротах и, спрятавшись за дверь, не сводя глаз, смотреть на него сквозь щели, пока я не ослеп от необъяснимой ярости.

Тогда, вероятно, и пробудилось во мне то ясновидение, которое рождается у меня всякий раз, как я прихожу в соприкосновение с

людьми, даже с предметами, имеющими с ним связь. Тогда-то, по-видимому, бессознательно, я до тонкости изучил все его движения: его манеру носить костюм, брать вещи, кашлять, пить и тысячу других черточек. Все это настолько вьелось мне в душу, что я по первому взгляду, и совершенно безошибочно, могу во всем различить следы его личности.

Впоследствии это обратилось почти в манию: я отбрасывал невинные вещи, только потому, что меня мучила мысль: его рука, может быть, коснулась их, – другие, наоборот, становились мне дороги, я любил их, как друзей, желавших ему зла.

Харусек замолчал па минуто, я видел, как он бессмысленно смотрел в пространство. Его пальцы механически вертели напильник, лежавший на столе.

– Когда потом, благодаря нескольким сострадательным учителям, я начал изучать медицину и философию, начал вообще учиться мыслить, я мало-помалу понял, что такое ненависть.

Так глубоко ненавидеть, как я, мы можем только то, что *является частью нас самих*.

И когда я постепенно, шаг за шагом, узнал все: кем была моя мать... и... и кто она теперь, – если, если она еще вообще жива, когда я узнал, что собственное мое тело, – тут он отвернулся, чтоб я не видел его лица, – полно *его* мерзкой кровью – ну, да, Пернат, почему бы вам не знать этого: *он мой отец!*

– тогда я понял, ясно, где корень всего... Иногда я вижу таинственный смысл в том, что я чахоточный и кашляю кровью: мое тело отвращается от всего, что исходит от него и выбрасывает все это с омерзением.

Часто ненависть моя сопровождала меня и в моих сновидениях, тешила меня картинами всевозможных мук, предназначенных для него.

Но я прогонял все эти образы: они оставляли меня неудовлетворенным.

Когда я думаю о самом себе и с удивлением вижу, что в мире нет никого и ничего, что бы я был в состоянии ненавидеть, или к чему я мог бы просто почувствовать антипатию, – кроме *него* и его крови, меня охватывает отвратительное чувство: я мог бы стать порядочным

человеком. Но, к счастью, это не так. Я вам сказал уже: во мне больше нет места ни для чего.

Не подумайте только, что меня ожесточила печальная судьба (том, что он сделал с моей матерью, я узнал только спустя много лет). Я пережил один радостный день, который оставляет за собой все, что вообще доступно человеку. Я не знаю, известно ли вам, что такое искреннее, подлинное, пламенное благочестие. Я тоже не испытывал его до тех пор. Но вот, в тот день, когда Вассори покончил с собой, я стоял у лавки и видел, как *он* принял известие. Он должен был отнестись к этому известию тупо, как не искушенный игрою жизни человек. Целый час стоял он безучастно, подняв слегка над зубами свою кроваво-красную заячью губу... так... так... весь точно собранный внутрь... тут я почувствовал веяние архангельских крыл.

Вы знаете черную икону Божьей Матери в церкви? Перед ней я пал на колени, и райская мгла окутала мою душу.

Харусек стоял с мечтательными большими глазами, полными слез, и, глядя на него, я вспомнил слова Гиллея о непостижимости темного пути, которым идут братья, обреченные смерти.

Харусек продолжал.

– Внешние обстоятельства, которые «создали» мою ненависть, если могут считаться оправданием ее в глазах профессиональных судей, вероятно, вас не интересуют: факты кажутся верстовыми столбами, но в сущности выеденного яйца не стоят. Они – только назойливое хлопанье пробок от шампанского, лишь дуракам кажущееся самым существенным в пирушке.

Вассертрум всеми inferнальными средствами, которыми располагают подобные люди, заставил мою мать подчиниться его воле, – а может быть, и гораздо хуже того. А потом, – ну, да, – а потом он продал ее в дом терпимости... это не трудно, если быть в дружеских отношениях с полицейскими комиссарами, – но не потому, что она надоела ему, о нет! Я знаю тайные изгибы его сердца.

Он продал ее в тот день, когда с ужасом убедился в том, как горячо он любил ее. Такие, как он, поступают как будто бы нелепо, но всегда одинаково. В нем пробуждается любостяжание всякий раз, как кто-нибудь приходит и покупает какую-нибудь вещь в его лавочке, хотя бы за высокую цену: он чувствует только необходимость отдать эту вещь. Понятие «иметь» для него самое дорогое, и если бы он был в

состоянии создать для себя идеал, то это было бы отвлеченное понятие «обладания».

Вот и тут это выросло в нем до гигантских размеров, до вершины тревоги: не быть больше уверенным в самом себе, не что-нибудь *хотеть* дать во имя любви, а быть обязанным дать, подозревать в себе присутствие чего-то невидимого, что заключило в оковы волю или то, что он считает волей. Это было началом. То, что последовало за этим, произошло автоматически. Так щука должна механически, хочет или не хочет – схватить блестящий предмет, мимо которого она проплывает.

Продажа моей матери была для Вассертрума естественным следствием. Она дала удовлетворение всему, что оставалось от его дремлющих чувств: жажда денег и *извращенной радости самоистязания* ... Простите, майстер Пернат, – голос Харусека зазвучал вдруг так твердо и сухо, что я испугался, – простите, что я до ужаса рассудительно говорю об этом. Но когда посещаешь университет и имеешь дело с такой массой книг, невольно путаешься в выражениях.

В угоду ему я заставил себя улыбнуться, но внутри себя я отлично понимал, что он борется со слезами.

Как-нибудь я должен помочь ему, рассуждал я – по меньшей мере, попытаться облегчить его тяжелую нужду, насколько это в моих силах. Я незаметно вынул из комода последнюю оставшуюся у меня бумажку в сто гульденов и спрятал ее в карман.

– Когда вам будет лучше житься, и вы будете практикующим врачом, вы узнаете, что такое спокойствие, господин Харусек, – сказал я, чтобы придать разговору более успокоительное направление. – Скоро ваш докторский экзамен?

– Очень скоро. Я обязан сделать это для моих благодетелей. Смысла в этом никакого, потому что дни мои сочтены.

Я хотел сделать обычное возражение, что он смотрит слишком мрачно на дело, но он с улыбкой отстранил мою попытку.

– Это самое лучшее. Не велико удовольствие подражать комедиантам врачебного искусства и, в конце концов, добыть себе дворянский титул в качестве дипломированного отравителя колодцев. С другой стороны, – продолжал он с желчным юмором, – жаль, что

мне придется прекратить благословенную работу в гетто. – Он взялся за шляпу.

– Но я не буду вам мешать больше. Или поговорить еще по делу Савиоли? Мне кажется, не стоит. Во всяком случае, дайте мне знать, если у вас будут какие-либо новости. Лучше всего повесьте здесь у окна зеркало, как знак, что я должен зайти к вам. Ко мне в погреб вы не заходите ни в коем случае. Иначе Вассертрум сразу заподозрит, что у нас какие-то общие дела. Мне, между прочим, очень интересно было бы знать, что он предпримет, узнав что у вас побывала дама. Скажите ему, что она приносила вам драгоценную вещь для починки, а если он будет приставать, оборвите разговор.

Мне все не удавалось подсунуть Харусеку кредитный билет. Я взял с окна воск для модели и сказал ему: – Пойдемте, я провожу вас по лестнице, Гиллель ждет меня, – солгал я.

Он удивился.

– Вы подружились с ним?

– Немного. Вы знаете его?.. Или, может быть, вы, – я невольно улыбнулся, – не доверяете и ему?

– Боже сохрани!

– Почему вы это так решительно говорите?

Харусек приостановился в раздумье.

– Сам не знаю, почему, тут что-нибудь бессознательное: каждый раз, когда я встречаю его на улице, мне хочется сойти с тротуара и броситься на колени, как перед священником, несущим святые дары. Видите ли, майстер Пернат, это человек, который каждым своим атомом являет полную противоположность Вассертруму. В христианском квартале, так плохо всегда осведомленном, он слывет скупцом и тайным миллионером; однако, он чрезвычайно беден.

Я переспросил с испугом:

– Беден?

– Да, возможно, что еще беднее меня. Слово «взять», я думаю, он знает только по книгам. А когда он первого числа возвращается из ратуши, его обступают нищие евреи, зная, что он любому из них сунет в руку все свое скудное жалование, чтоб через два дня вместе со своей дочерью начать голодать. Старая талмудическая легенда утверждает, что из двенадцати колен, десять проклятых, а два святых. Если это так, то в нем два святых колена, а в Вассертруме все десять остальных,

вместе взятых. Вы никогда не замечали, как Вассертрум меняется в лице, когда он встречается с Гиллелем? Это, скажу вам, очень интересно! Видите ли, *такая кровь не допускает* смешения, дети явились бы на свет мертворожденными. И это в предположении, что матери не умерли бы от ужаса до их рождения. Гиллель, между прочим, единственный, кого Вассертрум остерегается, он бежит от него, как от огня. Вероятно, потому, что Гиллель олицетворяет для него что-то непостижимое и непонятное. Может быть, он подозревает в нем и каббалиста.

Мы спускались по лестнице.

– А вы думаете, что теперь существуют еще каббалисты и что, вообще, Каббала что-нибудь представляет собой? – спросил я, напряженно ожидая ответа, но он, по-видимому, не слышал вопроса.

Я повторил его.

Он быстро отвернулся и указал на дверь, сколоченную из крышек от ящиков.

– У вас тут новые соседи, бедная еврейская семья: сумасшедший музыкант Нафталий Шафранек с дочерью, зятем и внуками. Когда становится темно и Нафталий остается один с маленькими девочками, его охватывает безумие: он привязывает их за руки друг к другу, чтобы они не убежали, загоняет их в старый курятник и обучает их, как он говорит, «пению», чтобы они могли со временем зарабатывать себе на жизнь. Он обучает их сумасброднейшим песенкам с немецким текстом, всяким обрывкам, удержанным его смутной памятью, прусским победным гимнам и многому другому в этом роде.

Действительно, из-за двери раздавались тихие звуки странной музыки. Смычок выводил необычайно высоко и все в одном тоне мотив уличной песенки, и два тоненьких, как ниточка, детких голоса подпевали:

«Фрау Пик, Фрау Гок, Фрау Кло-но-тарщ, Вместе стояли, Мирно болтали...»

Это было в равной степени безумно и комично, и я не мог удержаться от громкого смеха.

– Зять Шафранека, – жена его продает стаканами огуречный рассол школьникам на базаре, – бегаёт целый день по конторам, – раздраженно продолжал Харусек, – и выпрашивает старые почтовые марки. Затем он их разбирает и, если находит такие, на которых

штемпель стоит только с краю, он кладет их одна на другую и разрезает. Чистые половинки он склеивает и продает марки за новые. Сперва дело его процветало и давало иногда чуть ли не целый гульден в день, но в конце концов, об этом узнали крупные еврейские промышленники в Праге – и сами занялись тем же. Они снимают сливки.

– Вы бы помогали нуждающимся, Харусек, если бы вы имели деньги? – быстро спросил я. Мы стояли у двери Гиллея, и я постучался.

– Неужели вы считаете меня таким дурным, что сомневаетесь в этом? – изумленно ответил он.

Шаги Мириам приближались, но я выжидал, пока она коснется ручки двери, и быстро сунул кредитный билет ему в карман. – Нет, господин Харусек, я вас не считаю таким, но *вы должны были бы меня считать таким, если бы я не сделал этого.*

Прежде чем он успел что-нибудь сказать, я пожал ему руку и затворил за собой дверь. Здороваясь с Мириам, я прислушивался к тому, что он будет делать.

Он секунду постоял, затем тихо зарыдал и стал медленно спускаться по лестнице осторожными шагами. Как человек, который должен держаться за перила.

Я в первый раз был днем у Гиллея в комнате.

В ней не было никаких украшений, как в тюрьме. Тщательно вычищенный и посыпанный белым песком пол. Никакой мебели, кроме двух стульев, стола и комода. Деревянные полки справа и слева по стенам.

Мириам села против меня у стола, и я принялся за восковую модель.

– Нужно иметь лицо перед собой, чтобы найти сходство? – робко спросила Мириам, только для того, чтобы нарушить молчание.

Мы старались не встречаться взглядами. Она не знала, куда девать свои глаза, мучась стыдом за жалкую обстановку, а у меня горели щеки от раскаяния, что я ни разу не позаботился узнать, чем живет она и ее отец.

Но что-нибудь надо было ответить!

– Не столько, чтобы уловить сходство, сколько для того, чтобы судить о том, верен ли внутренний образ. – Произнося эти слова, я чувствовал, какой фальшью звучали они.

– Долгие годы я слепо следовал ложному принципу, будто необходимо изучать внешнюю природу для того, чтобы творить художественное произведение. Только в ту ночь, когда Гиллель разбудил меня, во мне открылось внутреннее зрение: истинное созерцание с закрытыми глазами, исчезающее, как только они открываются, – вот дар, которым хвалятся все художники, но в действительности недоступный и одному из целого миллиона.

Как решился я говорить о возможности проверять непогрешимое суждение внутреннего зрения грубыми средствами глаз!

Мириам, по-видимому, думала то же самое, судя по удивленному выражению ее лица.

– Вы не должны понимать этого так буквально, – пытался я поправиться.

Она с большим вниманием следила, как я водил грифелем.

– Должно быть, очень трудно перенести это потом в совершенной точности на камю.

– Это механическая работа, или близкая к тому...

– Вы покажете мне камю, когда она будет готова? – спросила она.

– Она и предназначена для вас, Мириам.

– Нет, нет, этого не надо... это... это... – я видел, как дрогнули ее руки.

– Даже такой мелочи вы не хотите принять от меня? – быстро перебил я ее. – Я бы хотел позволить себе сделать для вас большее.

Она быстро отвернула лицо.

Что я сказал! Я, очевидно, глубоко обидел ее. Это прозвучало намеком на ее бедность.

Мог ли я исправить это? Не сделаю ли я еще хуже?

Я попытался.

– Выслушайте меня спокойно, Мириам. Прошу вас об этом. Я так обязан вашему отцу, – вы представить себе этого не можете.

Она неуверенно посмотрела на меня – очевидно не поняла.

– Да, да, бесконечно многим. Больше, чем жизнью.

– За то, что он вам тогда помог, когда вы были в обмороке? Это ведь так понятно.

Я чувствовал: она не знает, какие нити связывают меня с ее отцом. Я осторожно нащупывал, до каких пределов я могу идти, не выдавая секрета ее отца.

– Я думаю, что духовная помощь важнее материальной. Я разумею помощь, вытекающую из духовного влияния одного человека на другого. Вы понимаете, что я хочу сказать этим, Мириам? Можно излечить человека не только физически, Мириам, но и духовно.

– И это?..

– Да, и это ваш отец сделал со мной, – я схватил ее за руку. – Неужели вы не понимаете, что у меня должна быть потребность доставить какую-нибудь радость, если не ему, то по крайней мере близкому ему человеку? Имейте только хоть немного доверия ко мне! Неужели у вас нет никакого желания, которое я мог бы выполнить?

Она покачала головой.

– Вы думаете, я чувствую себя несчастной?

– О, нет! Но, может быть, у вас бывают заботы, от которых я мог бы освободить вас? Вы обязаны. Вы слышите? Вы обязаны разрешить мне разделить их с вами! Ведь вы живете здесь оба в темной затерянной улице. Вы, конечно, должны. Ведь вы так еще молоды, Мириам, и...

– Вы ведь тоже живете здесь, господин Пернат, – перебила она, улыбаясь. – Что вас приковывает к этому дому?

Я остановился. Да, да, это верно. Почему я собственно жил здесь? Я не мог себе объяснить этого. «Что приковывает тебя к этому дому?» – бессознательно повторял я. Я не мог придумать никакого объяснения и на мгновение забыл, где я нахожусь. Тут вдруг я очутился где-то высоко... в каком-то саду... в волшебном аромате цветущей бузины... взглянул вниз на город...

– Я дотронулась до раны. Я вам сделала больно? – издали донесся до меня голос Мириам.

Она наклонилась надо мной и с беспокойной пытливостью смотрела мне в лицо.

Очевидно, я долго сидел неподвижно, если так встревожил ее.

На миг что-то заколебалось во мне, и вдруг вырвалось неудержимо, переполняя меня; я раскрыл Мириам всю мою душу.

Я рассказал ей, как старому близкому другу, с которым жил всю жизнь, от которого нет никаких тайн, все, что со мной было, каким образом из слов Цвака я узнал, что когда-то сходил с ума, потерял память прошлого, как в последнее время все чаще и чаще во мне встают образы, корни которых гнездятся в далеких днях прошлого, – как я боюсь момента, когда вдруг все объяснится и растерзает мою душу.

Только то, что я считал связанным с ее отцом, мои переживания в подземном лабиринте и все последующее, я скрыл от нее.

Она тесно прижалась ко мне и слушала, затаив дыхание, с глубоким участием, доставлявшим мне невыразимое наслаждение.

Наконец-то я нашел человека, которому я могу излить свою душу, когда одиночество слишком давит меня. Правда, был здесь еще и Гиллель, но мне он казался заоблачным существом, приходящим и исчезающим, как свет, неуловимый для меня.

Я сказал это ей, и она поняла меня. Он представлялся таким же и ей, хотя и был ее отцом.

Он любил ее бесконечно, и она отвечала ему тем же чувством... и все-таки между ними – какая-то стеклянная стена, – призналась она мне. – Стена, которую я пробить не могу. С тех пор, как я себя помню, всегда было так. Когда я ребенком видела его во сне склонившимся над моей кроваткой, он всегда был в облачении первосвященника, на груди золотая доска Моисея с двенадцатью камнями, от висков исходили голубые светящиеся лучи. Я думаю, что его любовь такова, что она может пережить смерть, и слишком велика, чтоб мы могли понять ее. Это говорила и моя мать, когда мы тайком беседовали о нем. – Она вдруг встрепенулась и задрожала всем телом. Я хотел вскочить, но она удержала меня. – Не беспокойтесь, это ничего. Просто вспомнилось. Когда мама умерла, – только я одна знаю, как он любил ее (я была тогда маленькой девочкой), – я думала, что не вынесу скорби. Я побежала к нему, вцепилась в его сюртук и хотела кричать, но не могла, потому что я вся оцепенела – и – и тут... у меня мороз пробегает по коже, когда я думаю об этом... он с улыбкой посмотрел на меня, поцеловал в лоб и провел рукой по моим глазам... И с этого мгновения, до сих пор, мучительная тоска по матери исчезла. Я не могла пролить ни слезинки, когда ее хоронили. Сияющей дланью божьей казалось мне солнце, стоявшее в небе, и я не понимала, почему

люди плачут. Отец шел за гробом рядом со мной, и всякий раз, как я поднимала к нему глаза, он тихо улыбался, и я чувствовала, какой ужас пробежал по толпе, замечавшей это.

– И вы счастливы, Мириам? Вполне счастливы? Вам не кажется ужасным сознание, что ваш отец – существо, которое переросло все человечество? – тихо спросил я.

Мириам радостно покачала головой.

– Я живу, как в блаженном сне. Когда вы у меня раньше спросили, господин Пернат, не имею ли я забот, и почему мы здесь живем, мне хотелось смеяться. Разве природа прекрасна? Ну, вот, деревья зеленые, небо синее, но все это кажется мне гораздо более прекрасным, когда я закрываю глаза. Так нужно ли мне сидеть на лугу, чтобы видеть это?.. А немножко нужды... и... и голода? Это бесконечно возмещается надеждой и ожиданием.

– Ожиданием? – удивленно спросил я.

– Ожиданием чуда. Знакомо ли вам это? Нет? Тогда вы совсем, совсем бедный человек. Так мало людей это знают?! Видите ли, потому-то я никуда не хожу и ни с кем не встречаюсь. У меня было когда-то несколько друзей – евреек, конечно, как я, но мы никак не могли сговориться, – они меня не понимали, а я их. Когда я говорила о чудесах, они сперва думали, что я шучу; потом, когда увидели, как это для меня важно, и что я понимаю под чудесами не то, что немецкие ученые в очках называют естественным произрастанием трав и тому подобным, но что-то совсем противоположное, они готовы были считать меня сумасшедшей; но этому, однако, противоречило то, что я ловко рассуждала, знала толк в еврейском и арамейском языках, могла читать «таргумим» и «мидрашим»,^[5] и многое другое. В конце концов, они нашли слово, которое вообще ничего не выражает: они назвали меня «сумасбродной».

Я пыталась им объяснить, что для меня в Библии, как и в других священных книгах, самое значительное, существеннейшее – чудо, и только чудо, а не предписания морали и этики. Эти предписания являются скрытыми путями к чуду. Но они возражали мне лишь общими местами, боясь откровенно признаться, что на почве религии они верят только тому, что могло бы содержаться и в уложении гражданских законов. Стоило им только услышать слово «чудо», как им уже становилось не по себе.

Они теряют почву под ногами, – говорили они.

Как будто бы есть что-нибудь более прекрасное, чем потерять почву под ногами!

«Этот мир существует только для того, чтобы мы думали о его гибели, – говорил отец, – тогда, только тогда начнется действительная жизнь». Я не знаю, что он подразумевал под словом «жизнь», но я чувствую иногда, что будет день, когда я как бы «проснусь». Хотя и не могу себе представить, в каком состоянии. И этому, думается мне, должны предшествовать чудеса.

«Ты пережила уже какое-нибудь чудо, что ты постоянно ждешь его?» – часто спрашивали меня подруги, и когда я говорила, что нет, они радовались и имели вид победителей. Скажите, господин Пернат, вы могли бы понять такие души? О том, что я все же переживала чудеса, хоть и маленькие, совсем маленькие... – глаза Мириам загорелись огоньками, – я им рассказывать не хотела...

Я слышал, как ее голос захлебнулся в слезах радости.

– Но вы поймете меня: часто, неделями, даже месяцами, – Мириам говорила совсем тихо, – мы жили только чудом. Когда в доме не оставалось даже хлеба – ни кусочка, я всегда знала: вот наступил час! И я сидела и ждала, пока у меня не замирало дыхание от сердцебиения. И... и тогда меня внезапно куда-то тянуло, я сбегала вниз, пробегала взад и вперед по улице – так быстро, как только могла, чтобы успеть вернуться домой до прихода отца... И... и каждый раз я находила деньги. Один раз больше, другой меньше, но всегда столько, что я могла купить самое необходимое. Часто гульден лежал посреди улицы, я издали видела его блеск, а люди наступали на него, проходили мимо и не замечали. Это делало меня порою настолько самоуверенной, что я даже не сходила вниз, а, как ребенок, искала здесь в кухне на полу, не упал ли с неба хлеб или деньги.

У меня в голове мелькнула мысль, которой я не мог не улыбнуться.

Она заметила.

– Не смейтесь, господин Пернат, – произнесла она умоляющим голосом, – верьте мне, я знаю, что эти чудеса будут умножаться и что когда-нибудь они...

Я успокоил ее:

– Я не смеюсь, Мириам. Как вы могли это подумать. Я бесконечно счастлив, что вы не такая, как другие, которые ищут за каждым явлением обычной причины и недовольны (мы в таких случаях говорим: слава Богу), если случится что-нибудь необычное.

Она протянула мне руку.

– И не правда ли, вы никогда больше не скажете, господин Пернат, что вы хотите мне или нам помочь? Теперь, когда вы знаете, что сделав это, вы отняли бы у меня возможность пережить чудо?

Я обещал ей. Но мысленно сделал оговорку.

Открылась дверь, и вошел Гиллель.

Мириам обняла его, и он поздоровался со мной. Тепло и дружески, но опять холодное «вы».

Казалось, он устал или встревожен. Или я ошибался?

Может быть, это показалось мне оттого, что в комнате было полутемно.

– Вы, наверное, пришли, чтоб спросить у меня совета, – начал он, когда Мириам оставила нас одних, – относительно дела той дамы?..

Удивившись, я хотел перебить его. Но он не дал мне это сделать.

– Я знаю это от студента Харусека. Я остановил его на улице, мне показалось, что он сильно изменился. Он мне все рассказал. От переполненного сердца. И то, что вы дали ему денег. – Гиллель смотрел на меня пронизывающим взглядом и странно как-то подчеркивал каждое слово, но я не понял, чего он добивался.

– Конечно, это прольет с неба несколько капель счастья... и... и... в... данном случае, это не повредит, но... – он на секунду задумался, – но иногда этим создается тяжелое страдание и для себя и для других. Вовсе не так легко оказывать помощь, как вы думаете, милый друг. Так было бы очень легко спасти мир. Вы не согласны?

– А вы разве не подаете нищим? И часто – все, что у вас имеется, Гиллель? – спросил я.

Он, улыбаясь, покачал головой.

– Мне кажется, что вы вдруг сделали талмудистом, вы стали отвечать вопросом на вопрос. Так трудно спорить...

Он остановился, как будто ожидая возражения, но я снова не понял, к чему собственно он клонит.

– Впрочем, вернемся к теме, – продолжал он, изменив тон, – я не думаю, чтобы той, о ком вы хлопчете, этой даме – грозила

непосредственная опасность. Предоставьте событиям идти своим чередом. Хотя и говорят, что «умный» забегает вперед, но умнее тот, кажется мне, кто выжидает и готов ко всему. Может быть, случится, что Аарон Вассертрум и столкнется со мной – инициатива должна исходить от него, я не сделаю ни шагу, он должен прийти сюда. К вам ли или ко мне, это безразлично. Тогда я с ним буду говорить: его дело будет решить, следовать ли моему совету или нет. Я умываю руки.

Я робко пытался прочесть что-нибудь на его лице. Так холодно и так странно угрожающе он никогда еще не говорил. Но в этих черных глубоких глазах зияла бездна.

«Точно стеклянная стена между ним и нами», – вспомнились мне слова Мириам.

Мне оставалось только без слов пожать ему руку и уйти.

Он проводил меня до двери, и когда я поднялся по лестнице и обернулся, я увидел, что он все еще стоит и дружески кивает мне головой. Совсем как человек, который желал бы сказать еще что-нибудь, но не может.

XII. Страх

Я намеревался взять пальто и трость и пойти поужинать в маленький ресторан, где Цвак, Фрисландер и Прокоп каждый вечер проводили время до поздней ночи, рассказывая друг другу необыкновенные истории, но как только я переступил порог моей комнаты, это намерение от меня отпало, точно упала с меня одежда, сорванная чьей-то рукой.

В воздухе чувствовалось напряжение, я не отдавал себе в нем отчета, но оно существовало, как нечто осязаемое, и через несколько секунд так сильно мною овладело, что я от беспокойства не знал, что и сделать: зажечь ли свет, захлопнуть ли дверь, или сесть, или начать ходить по комнате.

Не проник ли кто-нибудь сюда в мое отсутствие и не спрятался ли? Не передался ли мне его страх быть обнаруженным? Быть может, Вассертрум приходил сюда?

Я приподнял гардины, открыл шкаф, заглянул в соседнюю комнату: никого.

И шкапулки никто не сдвинул с места.

Не лучше ли без всяких промедлений сжечь письма, чтоб раз и навсегда освободиться от тревоги?

Я уже полез в жилетный карман за ключом... – но разве необходимо сейчас же это сделать? У меня есть еще время до завтрашнего утра.

Прежде всего зажечь огонь!

Я не мог найти спичек.

Запер ли я дверь? Я сделал несколько шагов назад. И остановился опять.

Откуда вдруг этот страх?

Я хотел упрекнуть себя в трусости: но мысль вдруг остановилась. Сумасшедшая мысль пришла мне в голову: как можно быстрее вскочить на стол, схватить кресло, поднять его и раздробить череп тому, кто там ползет по полу... когда... когда он подойдет ближе.

«Но ведь здесь никого нет, – сказал я себе громко и раздраженно, – разве ты был когда-нибудь трусом?»

Это не помогло. Воздух, которым я дышал, становился разреженным и острым, как эфир.

Хоть бы что-нибудь реальное увидеть, даже самое страшное, и тотчас исчез бы мой страх.

Но не было ничего.

Я осматривал все углы.

Ничего.

Всюду хорошо знакомые предметы: мебель, сундук, лампа, картина, стенные часы – безжизненные, старые, верные друзья.

Я надеялся, что они преобразятся в моих глазах и дадут мне повод объяснить себе давившую меня тревогу каким-нибудь обманом зрения.

И этого не случилось. Они остались верны своей форме. Даже слишком неподвижны для господствовавшей кругом полутьмы.

«Их гнетет то же самое, что и меня, – почувствовал я. Они не решаются сделать малейшее движение».

Почему не тикают часы?

Обступившая напряженность поглощает все звуки.

Я потряс стол и удивился, услышав все же шум.

Хоть бы ветер свистнул под окном! Даже этого нет. Или дрова затрещали бы в печке, – но огонь погас.

И неизменно все та же напряженность в воздухе – без пауз, без перерывов, как струя воды.

Напрасно все мои чувства свернулись в клубок, как бы перед прыжком! Мне казалось, что я этого не вынесу. Во всем пространстве металась чьи-то взоры, но я не мог их уловить, повсюду блуждали чьи-то руки, которых я не мог схватить.

«Это ужас, который сам себя порождает, парализующий ужас перед непостижимым. Ничто, которое не имеет формы и превышает границы нашей мысли», – смутно понял я.

С упорством пригвоздился я к месту и ждал.

Ждал добрых четверть часа: не обмануть ли это невидимое существо, подвести его ближе ко мне и схватить?!

Я стремительно обернулся назад: снова ничего.

Все то же опустошающее Ничто, – его не было, и все же комната была полна его гнетущим существованием.

Не убежать ли? Что мне мешает?

«Оно пойдет за мной», – с отчетливой уверенностью понял я в тот же миг. Я понял, что и свет мне не поможет, и все-таки я продолжал искать спички, пока их не нашел.

Но фитиль свечки не разгорался и все тлел: маленький огонек не мог ни жить, ни умереть, и когда он, наконец, уже завоевал себе чахоточное существование, он засветился, как грязная желтая жесь. Нет, уж лучше темнота.

Я потушил свет и, не раздеваясь, бросился на постель. Считал удары своего сердца: раз, два, три, четыре – до тысячи, и опять сначала – часы, дни, недели, как мне казалось, пока мои губы не высохли, и волосы не встали дыбом: ни секунды облегчения.

Ни единой.

Я начал произносить первые попадавшиеся слова: «принц», «дерево», «дитя», «книга». Я судорожно повторял их, пока они не стали раздаваться во мне бессмысленными, страшными звуками из каких-то доисторических времен, и я должен был напрягать все свои умственные способности, чтоб вновь осмыслить их значение: п-р-и-н-ц?... к-н-и-г-а?

Не сошел ли я с ума? Не умер ли я?.. Я ощупывал все вокруг.

Встать!

Сесть на стул!

Я бросился в кресло...

Хоть бы смерть, наконец, пришла!

Только бы не чувствовать этого бескровного страшного напряжения!

«Я-не-хочу... я-не-хочу, – кричал я. – Слышите?!»

Бессильно я откинулся назад.

Я не мог ощутить себя живым.

Не будучи в состоянии ни думать, не действовать, я уставился взором вперед.

«Почему он так настойчиво предлагает мне зерна?» – нахлынула на меня мысль, исчезла, вернулась. Исчезла, опять вернулась.

Постепенно становилось ясно, что передо мною странное существо: он тут, может быть, уже все время, пока я здесь сижу... Вот он протягивает мне руку.

Некто в сером, широкоплечий, ростом в среднего, плотно сложенного человека, стоит, опираясь на спирально выточенную трость светлого дерева.

Там, где должна была быть его голова, я мог различить только туманный шар из сизого дыма.

Тяжелый запах сандалового дерева и сырости исходил от призрака.

Чувство совершенной незащитности едва не лишило меня сознания. Вся давняя, разъедавшая меня мука превратилась теперь в смертельный ужас и приняла форму этого существа.

Инстинкт самосохранения подсказывал мне, что я сойду с ума от ужаса и отвращения, если увижу лицо призрака, предостерегал меня, кричал мне в уши, – и все же притягивал меня, как магнитом, и я не мог отвести глаз от сизого туманного шара, и в нем искал глаза, нос и рот.

Я напрягал все свои силы: туман оставался неподвижным. Правда, мне удавалось приставлять мысленно разные головы к этому туловищу, но каждый раз я знал, что это плод моего воображения.

Они расплывались в тот самый миг, как я создавал их. Только форма египетского ибиса еще удерживалась.

Очертания призрака неуверенно рисовались в темноте, едва заметно сжимаясь и снова расширяясь, точно от медленного дыхания, пробегающего по всему телу: единственное движение, которое можно было уловить.

Вместо ног в пол упирались обрубки костей. А мясо, серое, бескровное, выпячивалось своими краями на высоте перехвата.

Неподвижное существо протягивало мне свою руку.

В ней лежали зернышки. Величиной с горошину, красного цвета, с черными пятнышками по краям.

Что я должен был сделать с ними?

Я смутно сознавал, что на мне лежала огромнейшая ответственность, – ответственность, выходящая за пределы всего земного, – если я сейчас не сделаю все то, что нужно.

Две чашки весов – на каждой половина вселенной – колеблются где-то в царстве первопричины, мерещилось мне, – на какую я брошу пылинку, та и опустится.

Так вот она, эта страшная напряженность, окружающая меня! – догадался я, – «Не шевели пальцем!» – советовал мне рассудок. – Даже если смерть никогда не придет за тобой и не избавит тебя от этой муки».

«Но и этим ты произвел бы выбор: ты, значит, о т к а ж е ш ь с я от зерен, – шептало что-то внутри. – Тут нет выхода».

В поисках защиты я оглянулся вокруг, не увижу ли знака, указующего, как быть.

Ничего.

И во мне самом ни решения, ни выбора, – все мертво, – умерло.

Жизнь мириадом людей в это страшное мгновение легче пеперышка, – понял я...

Уже давно, должно быть, наступила ночь, я не различал стен моей комнаты.

Рядом, в ателье, слышались шаги, кто-то передвигал шкапы, выдвигал ящики, со стуком бросал их на пол, – мне показалось, что я узнал голос Вассертрума, произносившего хриплым басом дикие проклятия. Я не стал прислушиваться. Это имело для меня не большее значение, чем шорох мышей.

Я закрыл глаза.

Длинным рядом потянулись предо мной человеческие лица. Веки опущены... неподвижные мертвые маски... мой собственный род, мои предки.

Все одна и та же форма черепа, хотя тип заметно менялся. Предки вставали из могил с волосами, гладко причесанными, распущенными, подстриженными, в париках и в косичках. Века за веками, все ближе ко мне, их черты становились мне все более и более знакомыми, и, наконец, слились в одно лицо.... в лицо Голема, которым и оборвалась цепь моих предков...

Затем тьма обратила мою комнату в беспредельное пустое пространство, в середине которого, как я знал, я сижу в кресле. Предо мной снова появилась серая тень с протянутой рукой.

Когда я открыл глаза, около нас двумя пересекающимися кругами стояли октоидально какие-то странные существа.

В одном круге они были облачены в одежды, отливавшие фиолетовым цветом, а в другом – красно-черным. Люди неведомой

расы, высокого роста, неестественно худые. На лица их были наброшены светящиеся покрывала.

Усилившееся сердцебиение подсказало мне, что час решения настал. Мои пальцы протянулись к зернам: – тут я увидел, что дрожь пробежала по лицам красноватого круга.

Не брать зерен? – дрожь охватила синеватый круг, – я пристально взглянул на человека без головы. Он стоял – в той же позе, неподвижно, как прежде.

Даже дышать он перестал.

Я поднял руку, все еще не зная, что сделать... ударил по протянутой руке призрака, и зерна рассыпались по полу.

На одно мгновение точно электрический разряд отнял у меня сознание, и мне показалось, что я лечу в бездну, – но потом я снова почувствовал себя на ногах.

Серая фигура исчезла. С ней и существа красного круга.

Синеватые же лица окружили меня, на груди у них были надписи из золотых иероглифов, между поднятыми и сжатыми указательными и толстыми пальцами, точно заклиная, они держали красные зерна, которые я выбил из руки безголового призрака.

Я слышал, как снаружи град бил в стекла, и оглушительный гром потряс воздух.

Зимняя гроза во всей ее бессмысленной ярости проносилась над городом. С реки сквозь завывания ветра доносились, через равные промежутки времени, глухие пушечные выстрелы, возвещавшие вскрытие льда на Молдаве. Комната пылала в огне непрерывных молний. Я вдруг почувствовал такую слабость, что у меня задрожали колени, и я должен был сесть.

«Будь спокоен, – ясно произнес чей-то голос возле меня, – будь совершенно спокоен, сегодня *lelschimurim* – ночь защиты».

Мало-помалу гроза стихла, и оглушительный грохот перешел в монотонное постукивание града по крышам.

Физическая слабость дошла до такой степени, что я смутно, точно в полусне, воспринимал все, происходившее кругом.

Кто-то из круга произнес слова:

«Тот, кого вы ищете, тот не здесь». Другие ответили ему что-то на непонятном мне языке.

Затем тот же голос произнес какую-то фразу, в которой было имя «Непосн», но остального я не понял. Шум трескающегося льда, доносимый ветром, был слишком оглушительен.

Потом один из круга выделился, подошел ко мне, указал на иероглифы на своей груди – это были те же буквы, что и у других – и спросил меня, могу ли я их прочесть.

И когда я запинаящимся от усталости языком ответил отрицательно, он протянул мне ладонь, и буквы засветились на моей груди, сперва латинские: Chabrat zereh aur bocher.^[6]

потом медленно обратившиеся в совершенно мне незнакомые.

...И я впал в глубокий сон без сновидений, какого не знал с той ночи, когда Гиллель отверз мои уста.

XIII. Стремление

Стремительно пробежали часы последних дней. Я едва успевал пообедать.

Непреодолимое влечение к работе держало меня прикованным к столу с утра до вечера.

Камея была закончена, и Мириам радовалась ей, как ребенок.

И буква «I» в книге «Ibbur» была исправлена.

Я откинулся назад и стал спокойно припоминать маленькие события последних часов.

Услуживающая мне старая женщина на утро после грозы влетела ко мне в комнату с известием, что ночью обрушился каменный мост.

Странно: обрушился! Быть может, как раз в то мгновенье, когда зерна... нет, нет, не думать об этом! Иначе случившееся получит характер реального, а я заранее решил похоронить это в груди, пока оно само не проснется... только бы не дотрагиваться.

Недавно еще я ходил по этому мосту, смотрел на каменные статуи – а теперь вековой мост этот лежит в развалинах.

Мне было больно, что моя нога уже не вступит на него.

– Если даже его и отстроят, все-таки это уж будет не тот старый, таинственный каменный мост.

Целыми часами, работая над камеей, я думал на ту же тему, и как-то само собой, точно я никогда не забывал об этом, живо припомнилось мне: часто ребенком и потом позднее я любовался статуей святой Луитгарды и другими статуями, погребенными ныне в бушующих водах.

Целый ряд маленьких вещей, милых и родных мне с детского возраста, снова появился предо мной: отец, мать, многие из школьных товарищей. Вот только дома, где я жил, не мог я вспомнить.

Я знал, что внезапно, в тот день, когда я меньше всего буду ждать этого, он встанет перед моим воображением, и я уже заранее испытывал наслаждение.

Сознание, что все во мне располагалось так естественно и так просто, приводило меня в восторг.

Когда третьего дня я вынул из шкатулки книгу «Ibbur», ничто не показалось мне в ней удивительным... просто старая пергаментная

книга, украшенная дорогими инициалами... совсем естественная вещь.

Я не мог понять, почему она показалась мне когда-то такой необычно таинственной.

Она была написана на еврейском языке, которого я совершенно не понимал.

Когда же придет за ней незнакомец?

Жизнерадостность, незаметно влившаяся в меня во время работы, снова пробудилась во всей своей живительной свежести и разогнала ночные видения, предательски напавшие на меня.

Быстро взял я портрет Ангелины, – надпись на нем была мною срезана... Я поцеловал его.

Это было глупо и бессмысленно, но почему когда-нибудь не помечтать о счастье, не ухватиться за сверкающее мгновение, не порадоваться ему, как мыльному пузырю?

Разве невозможно, чтоб исполнилось предчувствие тоскующего сердца? Разве никак не может случиться, чтобы я сразу стал знаменитостью? Равным ей, хоть и не по происхождению? По крайней мере, равным доктору Савиоли? Я подумал о камее Мириам: если бы и следующие камеи мне удались, как эта! Нет сомнения, что самые выдающиеся художники всех времен не создали ничего лучшего.

Допустим простую случайность: внезапно умирает супруг Ангелины.

Меня бросало то в жар, то в холод: маленькая случайность – и моя надежда, дерзкая надежда, становится реальной. На тоненькой ниточке, которая ежеминутно может оборваться, висит счастье, что должно упасть в мои руки.

Разве тысячи раз уже не случались со мной чудеса? Вещи, о самом существовании которых человечество и не знает.

И разве не чудо, что за несколько недель во мне пробудился художественный талант, который и теперь уже высоко подымает меня над уровнем посредственности?

А ведь я был только *в начале* пути!

Разве я не имел права на счастье?

И разве мистицизм исключает возможность желаний?

Я подавил в себе реальность, только бы часок помечтать, минуту, один миг!

Я грезил с открытыми глазамм.

Драгоценные камни на моем столе выросли и окружили меня разноцветными водопадами. Опаловые деревья стояли группами и излучали волны небесного цвета, а небо, точно крылья гигантской тропической бабочки, отливало сияющей лазурью, как необозримые луга, напоенные знойным ароматом лета.

Я чувствовал жажду, и я освежился в ледяном потоке ручья, бежавшего в скалах из светлого перламутра.

Горячий ветер пронесся по склонам, осыпанным цветами, и опьянил меня запахом жасмина, гиацинтов, нарциссов и лавра...

Невыносимо! Невыносимо! Я отогнал видение. Меня томила жажда.

Это были райские муки.

Я быстро открыл окно и подставил голову под вечерний ветер. В нем чувствовался аромат наступавшей весны...

Мириам!

Я думал о Мириам. Она чуть не упала от возбуждения, рассказывая мне, что случилось чудо – настоящее чудо: она нашла золотую монету в булке хлеба, которую булочник положил через решетку на кухонное окно...

Я схватился за кошелек! – Еще, пожалуй, не поздно, я успею и сегодня *снова наколдовать ей дукат!* Она ежедневно приходила ко мне, чтоб развлекать меня, как она выражалась, но почти не разговаривала, так переполнена она была «чудом». Это событие взбудоражило ее до глубины души. У меня кружилась голова при мысли о том, как она иногда вдруг, без всяких видимых причин, смертельно бледнела под действием одного лишь воспоминания. В моем ослеплении я, может быть, наделал вещей, последствия которых переходили всякую границу.

И когда я вспомнил последние неясные слова Гиллеля и привел их в связь с этим, мороз пробежал у меня по коже.

Чистота намерений не могла служить мне извинением. Цель не оправдывает средства, это я знал.

Что если стремление помочь было наружно чистым? Не скрывается ли в нем тайная ложь: себялюбивое, бессознательное

желание наслаждаться ролью спасителя?

Я перестал понимать себя самого.

То, что я смотрел на Мириам слишком поверхностно, было несомненно.

Уже как дочь Гиллея, она должна была быть не такой, как другие девушки.

И как посмел я глупо вторгнуться в ее внутренний мир, корый возвышался над моим, как небо над землей?

Уже самые черты ее лица, гораздо более напоминавшие – только несколько одухотвореннее – эпоху шестой египетской династии, чем наши дни, с их рассудочными типами, – должны были предостеречь меня от этого.

«Внешность обманывает только круглого дурака, – читал я где-то однажды. – Как верно! как верно!»

Мы с Мириам были теперь друзьями, не признаться ли ей, что это я тайком каждый день вкладывал ей в хлеб дукат?

Удар был бы слишком внезапным. Оглушил бы ее.

На это я не мог решиться – надо было действовать осторожнее.

Смягчить как-нибудь чудо? Вместо того, чтоб всовывать монету в хлеб, класть ее на лестницу, чтоб она должна была найти ее, когда откроет дверь, и так далее? Можно придумать что-нибудь новое, менее разительное, путь, который, мало-помалу вернул бы ее от чудесного к будничному, утешал я себя.

Да! Это самое правильное.

Или разрубить узел. Признаться ее отцу и просить совета?

Краска стыда бросилась мне в лицо. Этот шаг я успею сделать, когда все остальные средства окажутся негодными.

Но немедленно приступить к делу, не терять ни минуты времени.

Мне пришла в голову блестящая мысль: надо заставить Мириам сделать что-нибудь совсем необычное – вывести ее на несколько часов из привычной обстановки, дать ей новые впечатления.

Взять экипаж и поехать покататься с ней. Кто узнает нас, если мы поедem не еврейским кварталом?

Может быть, ее заинтересует обвалившийся мост?

Пусть поедет с ней старик Цвак или кто-нибудь из подруг, если она найдет неудобным поехать со мной.

Я твердо решил не принимать никаких возражений.

На пороге я чуть не сбил с ног кого-то.

Вассертрум!

Он, очевидно, подсматривал в замочную скважину, потому что он стоял согнувшись, когда я наскочил на него.

– Вы ко мне? – неприязненно спросил я.

Он пробормотал в извинение несколько слов на своем невозможном жаргоне и ответил утвердительно.

Я попросил его войти и сесть, но он остановился у стола и начал нервно тереть поля своей шляпы. В его лице и в каждом движении его сквозила глубокая враждебность, которую он напрасно старался скрыть.

Никогда еще не видал я этого человека в такой непосредственной близости. В нем отталкивало не ужасное уродство, а что-то другое, неуловимое. Уродство же собственно настраивало меня даже сочувственно: он представлялся мне созданием, которому при его рождении сама природа с отвращением и с яростью наступила на лицо.

«Кровь», – как удачно определил Харусек.

Я невольно вытер руку, которую он пожал мне, входя в комнату.

Я сделал это совершенно незаметно, но он, по-видимому, это почувствовал. С усилием подавил он в себе выражение ненависти.

– Красиво у вас, – запинаясь, начал он, наконец, поняв, что я не окажу ему любезности, начав разговор.

Как бы в противоречии с собственными своими словами, он закрыл глаза, чтобы не встретиться с моими. Не думал ли он, может быть, придать этим своему лицу невинное выражение?

Ясно чувствовалось, какого труда стоило ему говорить по-немецки.

Я не считал себя обязанным отвечать и ждал, что он скажет дальше.

В смущении он дотронулся до напильника. Бог знает почему, с посещения Харусека, он все еще лежал на столе. Но Вассертрум оттолкнулся от него вдруг, точно укушенный эмеей. Меня поразила его инстинктивная душевная чуткость.

– Конечно, понятно. Это нужно для дела, чтобы было так красиво, – подыскал он слова, – когда бывают такие важные посетители. – Он открыл было глаза, чтоб посмотреть, какое

впечатление он произвел на меня, но, очевидно, счел это преждевременным и снова закрыл.

Я решил сразу прижать его к стене: «Вы разумеете даму, которая недавно заезжала сюда? Скажите прямо, к чему вы клоните?»

Он секунду медлил, затем стремительно схватил меня за локоть и повлек к окну.

Странное, ничем необъяснимое поведение его напомнило мне, как он несколько дней тому назад втащил к себе глухонемого Яромира.

Кривыми пальцами он держал передо мной какой-то блестящий предмет.

– Как вы думаете, господин Пернат? Можно с этим что-нибудь сделать?

Это были золотые часы с такими выпуклыми крышками, что почти казалось, будто их кто-то нарочно выгнул.

Я взял лупу: шарниры были наполовину оборваны, а внутри... как будто что-то выгравировано? Едва можно было разобрать, буквы были искажены совсем свежими царапинами. Я медленно разобрал:

«К – рл Цотт – манн».

Цоттманн? Цоттманн? Где я читал это имя? Цоттманн? Я не мог припомнить. Цоттманн?

Вассертрум едва не выбил у меня из рук лупу.

– В механизме ничего, я сам уже смотрел. С крышками плохо.

– Надо просто выпрямить... в крайнем случае, припаять. Это вам, господин Вассертрум, сделает любой часовщик.

– Я бы очень хотел, чтобы это было солидно сделано. Как говорят – аристократически, – быстро перебил он меня. Почти с испугом.

– Ну что ж, если вы придаете этому такое значение...

– Такое значение! – Его голос срывался от натуги. – Я хочу сам носить эти часы. И когда я их кому-либо покажу, я скажу: вот поглядите, как работает майстер Пернат.

Я испытывал отвращение к этому негодяю; он положительно плевал мне в лицо своей лестью.

– Если вы через час вернетесь, все будет готово.

Вассертрум заволновался: «Это не идет. Этого я не хочу. Три дня. Четыре дня. Хоть через неделю. Я всю жизнь буду упрекать себя, что затруднил вас».

Чего он добивался своим странным поведением? Я прошел в соседнюю комнату и запер часы в шкапулку. Портрет Ангелины лежал лицом кверху. Я быстро захлопнул крышку, чтобы Вассертрум не мог подсмотреть.

Вернувшись, я заметил, что он изменился в лице.

Я пристально посмотрел на него, но тотчас же отверг подозрение: «Немыслимо! Он не мог заметить».

– Ну, так через неделю, вероятно, – сказал я, чтоб положить конец его визиту.

Но он вдруг перестал торопиться, взял стул и сел.

И в противоположность тому, что было раньше, он широко раскрыл свои рыьи глаза и уставился упорно на верхнюю пугоницу моего жилета.

. Пауза.

– Эта стерва, конечно, велела вам притвориться, что вы ничего не знаете? А? – выпалил он вдруг без всякого предисловия, ударив кулаком по столу.

Было что-то исключительно жуткое в той порывистости, с какою он переходил от одного тона к другому; он перескакивал с быстротой молнии от льстивого заигрывания к грубой ругани. Мне стало ясно, что большинство людей, особенно женщины, легко становятся его жертвами, если только он располагает хотя бы малейшим оружием против них.

Я хотел вскочить, схватить его за шиворот и бросить за дверь, – это было первой моей мыслью, потом я рассудил, что разумнее будет один раз дать ему выговориться до конца.

– Я, право, господин Вассертрум, не понимаю, о чем вы говорите. – Я постарался придать своему лицу самое глупое выражение. – Стерва? Что значит: стерва?

– Я еще должен вас учить языку? – грубо продолжал он. – Вам еще придется присягать на суде. Вы понимаете это?! Это я вам говорю! – он начал кричать.

– Мне в глаза вы не станете отрицать, что она оттуда, – он указал пальцем на ателье, – вбежала к вам в одном только платке – больше ничего на ней не было!

Я взбесился, схватил негодя за грудь и начал трясти его:

– Если вы скажете еще хоть одно слово в таком роде, я вам ребра переломаяю! Поняли?

Побледнев, как полотно, он опустился на стул и забормотал:

– Что вы? Что вы? Чего вы хотите? Я ведь так себе.

Я прошелся по комнате взад и вперед, чтоб успокоиться, не слушая того, что он продолжал бормотать в свое оправдание.

Затем я сел прямо против него с твердым намерением раз и навсегда вывести на чистую воду все, что касалось Анжелины, и если он не согласится добровольно, то заставить его раскрыть свои враждебные замыслы и немедленно израсходовать свой слабый запас стрел.

Не обращая ни малейшего внимания на его попытки прервать меня, я старался втолковать ему, что *никакое* – я подчеркнул это слово – вмешательство ему не удастся, потому что ни одного обвинения он не сможет доказать, а все показания его (если допустить, что дело дойдет до суда) я *безусловно* смогу опровергнуть. Анжелина слишком близка мне, чтобы я не попытался спасти ее от беды какой угодно ценой, даже *лжесвидетельством*.

Каждый мускул в его лице дрожал, его заячья губа поднялась к носу, он скрежетал зубами и бормотал, как индюк, все пытаюсь прервать меня: «Разве я чего-нибудь хочу от нее? Вы послушайте только... – Он был вне себя от волнения, что я не даю себя сбить. – Дело в Савиоли, в этой проклятой собаке... этой... этой...» – почти рычал он.

Он задыхался. Я быстро остановился: наконец-то я добился того, чего хотел, но он уже спохватился и снова уставился на мой жилет.

– Послушайте, господин Пернат, – он старался говорить спокойным и рассудительным тоном купца. – Вы все говорите об этой сте... об этой даме. Хорошо: она замужем. Хорошо: она связалась с этим... с этим вшивым юнцом. Какое мне дело до этого? – Он размахивал руками перед моим лицом, собрав кончики пальцев так, как будто он держал в них щепотку соли. – Пусть она сама разделяется с этим, стерва. Я простой человек, и вы простой человек. Мы оба знаем это. Что?.. Я хочу только получить мои деньги. Вы понимаете, Пернат?

Я изумился:

– Какие деньги? Доктор Савиоли вам должен что-нибудь?

Вассертрум ответил уклончиво:

– Я имею счеты с ним. Это одно и то же.

– Вы хотите убить его? – вскричал я.

Он вскочил и покачнулся.

– Да, да!! Убить! Долго ли вы будете еще ломать комедию? – я указал ему на дверь. – Извольте убираться вон.

Он не спеша взял свою шляпу, надел ее и направился к двери. Но еще раз остановился и сказал мне с таким спокойствием, на какое я не считал его способным:

– Отлично. Я думал вас пожалеть. Хорошо. Если нет, так нет. Сострадательные цирюльники причиняют раны. Мне надоело. Если бы вы проявили больше разума: ведь Савиоли стал вам поперек дороги?!.. *Теперь я... вам... всем троим устраю...*

– он сделал жест удушения, – *виселищу*.

На его физиономии появилась такая дьявольская жестокость, и он казался настолько уверенным в своих силах, что у меня кровь застыла в жилах. Очевидно, у него в руках было оружие, о котором я не догадывался, о котором и Харусек ничего не знал. У меня почва уходила из-под ног.

«Напильник! Напильник!» – пронеслось у меня в мозгу. Я рассчитал расстояние: один шаг к столу – два шага к Вассертруму... я хотел броситься.

Как вдруг, точно выросший из земли, на пороге появился Гиллель.

Все поплыло перед моими глазами.

Я видел только сквозь туман, что Гиллель стоял неподвижно, а Вассертрум медленно пятился к стенке.

Затем я услышал голос Гиллеля:

– Вы знаете, Аарон, положение: *все евреи отвечают друг за друга*. Не перегружайте никого этой обязанностью.

Он прибавил к этому еще несколько слов по-еврейски, но я их не понял.

– Что вам за охота подслушивать за дверьми? – пролепетал заплетающимся языком старьевщик.

– Подслушивал я или нет, это не ваше дело! – и снова Гиллель закончил еврейской фразой, которая прозвучала угрозой. Я боялся, что дело дойдет до ссоры, но Вассертрум даже не пикнул в ответ, он подумал секунду и решительно вышел.

Я с ожиданием взглянул на Гиллея. Он сделал знак, чтобы я молчал. Он, очевидно, ждал чего-то, потому что напряженно вслушивался. Я хотел запереть дверь: он нетерпеливым жестом остановил меня.

Прошла целая минута. Снова слышались шаркающие шаги старьевщика, поднимавшегося по лестнице. Не говоря ни слова, Гиллель вышел, уступая ему дорогу.

Вассертрум подождал, пока шаги Гиллея замерли в отдалении, и затем проскрежетал сквозь зубы:

– Отдайте назад часы.

XIV. Женщина

Куда девался Харусек?

Прошли уже чуть не целые сутки, а он все не показывался.

Не забыл ли он условного знака? Или не заметил его?

Я подошел к окну, и поставил зеркало так, чтобы луч, который оно отражало, падал прямо на решетку в окне его погреба.

Приход Гиллеля – вчера – в значительной степени успокоил меня. Он бы без сомнения предупредил меня, если бы мне угрожала опасность.

Кроме того, Вассертрум не мог предпринять чего-нибудь значительного, – как только он ушел от меня, он вернулся к своей лавчонке. Я бросил взгляд вниз: да, он стоял над своими сковородами, точно так же, как и утром...

Невыносимо это вечное ожидание!

Ласковый, весенний ветерок, долетавший сквозь открытые в соседней комнате окна, нагонял на меня тоску.

Крупными каплями течет с крыш. Как сверкают в солнечном свете веселые струйки воды!

Невидимые нити влекли меня на улицу. В нетерпении ходил я взад и вперед по комнате. Бросался в кресло. Вставал опять.

Нездоровые ростки странной влюбленности не увядали в моей груди.

Всю ночь напролет они мучали меня. Сперва Ангелина прижималась ко мне, потом я как будто совершенно спокойно беседовал с Мириам, и едва расплылся этот образ, снова являлась Ангелина и целовала меня... Я вдыхал аромат ее волос, ее мягкая соболья шуба пощекотала мне шею, потом соскользнула, обнажив ее плечи. Она обратилась в Розину, танцевала, полузакрыв опьяневшие глаза... во фраке... голая... Все это в каком-то полусне, походившем на явь. Сладкую, томительную, мутную явь.

Под утро у моей постели стал мой двойник, таинственный «Nabal Garmin»

– «дыхание костей», о котором говорил Гиллель. И я видел по его глазам: он был в моей власти, должен был отвечать на каждый мой вопрос о земной или потусторонней жизни. Он только *ждал* этого, но

жажда таинственно оказывалась бессильною в потоках бушующей крови и не находила приюта в пустынях рассудка. Я отогнал призрак, велел ему обратиться в образ Ангелины, и он съежился в букву «алеф». Снова вырос, стал непомерно высокой обнаженной женщиной, с пульсом, могущественным, как землетрясение, какую я видел ее однажды в книге. Она наклонилась ко мне, и я стал вдыхать опьяняющий запах ее горячего тела.

Харусека все еще не было. Пели церковные колокола.

Еще четверть часа я буду ждать – потом на улицу! На шумные улицы, где гуляют празднично разодетые люди, слиться с веселой жизнью богатых кварталов, смотреть на красивых женщин с кокетливыми лицами и тонкими очертаниями рук и ног.

Может быть, я случайно встречу Харусека, оправдывался я перед самим собой.

Я достал с полки старинную колоду карт для тарока, чтоб скорее прошло время.

Не наведут ли меня карты на какой-нибудь мотив для камеи?

Я искал пагада.

Его не было. Куда он мог деваться?

Я еще раз перебрал карты и задумался об их тайном смысле. Особенно этот «повешенный» – что бы мог он означать?

Человек висит на веревке между небом и землей, головой вниз, руки связаны за спиной, правая нога занесена за левую, так, что образуется крест над опрокинутым треугольником?

Непонятная метафора.

Вот! Наконец-то! Харусек.

Или не он?

Радостный сюрприз. Это Мириам.

– Знаете, Мириам, я только что хотел спуститься к вам и предложить вам поехать покататься, – я был не совсем искренен, но я не задумывался над этим. – Ведь вы не откажетесь? Мне сегодня так беспредельно весело, что вы, только вы, Мириам, должны увенчать мою радость.

– Кататься? – повторила она так растерянно, что я не мог не расхохотаться.

– Неужели мое предложение так необычайно?

– Нет, нет, но... – она подыскивала подходящие слова. Ужасно странно. Кататься!

– Нисколько не странно. Подумайте, сотни тысяч людей делают это; в сущности, всю жизнь только это и делают.

– Да, *другие* люди! – сказал она все еще в полном замешательстве. Я схватил ее за обе руки.

– Радость, которую могут переживать *другие* люди, – я хотел бы, Мириам, чтоб вам она досталась в бесконечно большей степени.

Она вдруг побледнела, и по ее неподвижно устремленному взгляду я понял, о чем она думала.

Это кольнуло меня.

– Вы не должны постоянно думать об этом, Мириам, – убеждал я ее, – об этом... чуде. Обещайте мне это из... из... дружбы.

Она почувствовала тревогу в моих словах и удивленно посмотрела на меня.

– Если бы это не так действовало на вас, я мог бы радоваться вместе с вами, но... Знаете, я очень беспокоюсь о вас, Мириам? Меня, как бы это выразить, беспокоит ваше душевное равновесие! Не поймите этого буквально, но я хотел бы, чтоб чудо никогда не случилось.

Я думал, что она будет возражать, но она только кивнула головой, погрузившись в размышления.

– Это терзает вам душу. Разве не так, Мириам? – Она вздрогнула.

– Иногда и я почти желала бы, чтоб оно не случилось.

Это прозвучало для меня надеждой.

– Когда подумаю, – сказала она медленно и мечтательно, – что придет время, когда я буду жить без всяких чудес...

– Вы ведь можете сразу разбогатеть, и вам больше не нужно будет, – необдуманно прервал я ее, но быстро остановился, увидев ужас на ее лице, – я думаю, вы можете естественным путем освободиться от своих забот, и чудеса, которые вы тогда переживете, будут духовного характера: события внутренней жизни.

Она отрицательно покачала головой и твердо сказала:

– События внутренней жизни – не чудеса. Меня всегда удивляет, что, по-видимому, есть люди, которые вообще не имеют их. С самого детства, каждый день, каждую ночь, я переживаю... – (она прервала свою речь, и я вдруг понял, что в ней было что-то другое, о чем она

мне никогда не говорила, может быть, невидимый ход событий, похожий на мой) – Но это не важно. Если бы даже появился кто-нибудь, кто исцелял бы больных прикосновением руки, я бы не назвала этого чудом. Только когда безжизненная материя – земля – получает душу, когда разбиваются законы природы, тогда случается то именно, о чем я мечтаю с тех пор, как научилась думать. Однажды отец сказал мне: есть у Каббалы две стороны: магическая и абстрактная, никогда не совпадающие. *Магическая может подчинить себе абстрактную, но это никогда не бывает. Наоборот,* магическая есть дар, абстрактной же мы можем добиться хотя бы с помощью руководителя. – Она опять вернулась к основной своей теме: – Этот дар и есть то, чего я жажду; но я равнодушна к тому, чего могу достичь, оно для меня ничтожно, как пыль. Когда подумаю, что настанет время, – я только что вам об этом сказала, – когда я буду снова жить, без всех этих чудес... – Я заметил, как судорожно сжимались ее пальцы, раскаяние и горе охватило меня... – Мне кажется, что я уже умираю от одной только такой возможности.

– Не потому ли вы и хотели бы, чтобы чудо никогда не случилось? – спросил я.

– Только отчасти. Есть еще и другая причина. Я... я... – она задумалась на секунду, – еще недостаточно созрела, чтоб пережить чудо в этой форме. В этом все дело. Как мне объяснить вам это? Возьмите простой пример: я в течение целого ряда годов вижу каждую ночь один и тот же сон, все развивающийся, – в нем кто-то, скажем, обитатель другого мира, наставляет меня и не только показывает мне, как в зеркале, все мои постепенные изменения, насколько я далека еще от магической зрелости пережить «чудо», но и дает мне на все возникающие у меня за день вопросы такие ответы, которые я всегда могу проверить. Вы поймете меня: такое существо заменяет всякое мыслимое на земле счастье, это для меня мост, связывающий меня с потусторонним миром, – лестница Якова, по которой я могу подыматься от тьмы повседневности к свету. Он мой путеводитель и друг, и на «него», никогда не обманывавшего меня, я возлагаю все мои надежды, что я не потеряюсь на темных путях, где душа моя блуждает в безумии и мраке. И вдруг, вопреки всему, что он говорил мне, в мою жизнь врывается чудо! Кому теперь верить? Неужели то, чем я непрерывно в течение долгих лет была преисполнена, было ложью?

Если бы я усомнилась в этом, я бросилась бы головой в бездну. И все же чудо случилось! Я пришла бы в дикий восторг, если бы...

– Если бы?..– прервал я ее, не дыша. Может быть, она сейчас произнесет освобождающее слово, и я смогу все открыть ей!

– ...если бы я узнала, что я ошибалась, что не было чуда! Но я знаю так же точно, как то, что я тут сижу (у меня замерло сердце), что я погибла бы, если бы была сброшена с неба опять на эту землю. Думаете ли вы, что человек может перенести такую вещь?

– Попросите отца помочь вам... – сказал я, теряясь в тревоге.

– Отца? Помочь? – она взглянула на меня с недоумением. – Там, где для меня только два пути, найдет ли он третий?.. Вы знаете, что было бы единственным спасением для меня? Если бы со мной случилось то, что с вами. Если бы я в одно мгновение могла забыть все, что позади меня: всю мою жизнь до сегодняшнего дня. Не странно ли: то, что вы считаете несчастьем, для меня было бы величайшим блаженством!

Мы оба долго молчали. Потом она вдруг схватила меня за руку и улыбнулась. Почти весело.

– Я не хочу, чтобы вы огорчились из-за меня. – (Она утешала меня... меня!) – Только что вы радовались наступающей весне, а теперь вы само огорчение. Я напрасно вам все это говорила. Выбросьте из головы и будьте веселы как раньше. Мне так весело.

– Вам весело, Мириам? – с горечью перебил я ее.

Она уверенно ответила: «Да! Право же! Весело! Когда я поднималась сюда к вам, мне было невероятно страшно, я не знаю сама, почему: я не могла избавиться от мысли, что вы находитесь в большой опасности, – я насторожился. – Но вместо того, чтобы радоваться, застав вас целым и невредимым, я расстроила вас... и...»

Я принял веселый вид: «Вы можете это загладить, если поедете со мной покататься. (Я старался сказать это возможно игривее). Я хочу попытаться, не посчастливится ли мне хоть раз выгнать у вас из головы тяжелые мысли. Говорите, что хотите: ведь вы же не египетский чародей, а всего только молодая девушка, с которой весенний ветер может сыграть не одну шутку».

Она вдруг совсем развеселилась.

– Что это с вами сегодня, господин Пернат? Я еще никогда не видела вас таким. А что касается весеннего ветра, то у нас, у

еврейских девушек, как известно, родители управляют этим ветром, а нам остается только повиноваться. И, разумеется, мы так и делаем. Это уже у нас в крови. Только не у меня, – добавила она серьезно. – Мать моя взбунтовалась, когда ей предстояло выйти замуж за ужасного Аарона Вассертрума.

– Что? Ваша мать? За этого старьевщика?

Мириам утвердительно кивнула головой. – Слава Богу, из этого ничего не вышло. Но для несчастного это было, конечно, убийственным ударом.

– Для несчастного, вы говорите? – вскричал я. – Этот человек – преступник.

Она задумчиво покачала головой.

– Конечно, он преступник. Но тот, кто находится в его шкуре и не делается преступником, должен быть пророком.

Я с любопытством стал расспрашивать.

– Вы знаете что-нибудь о нем? Меня это интересует по совсем особым...

– Если бы вы, господин Пернат, посмотрели, что делается у него в лавке, вы бы поняли, какова его душа. Я говорю это потому, что ребенком часто я бывала там. Почему вы смотрите с таким удивлением? Разве это так невозможно? Ко мне он всегда бывал добр и ласков. Раз как-то, помнится, он подарил мне большой блестящий камень, он понравился мне больше всех других его вещей. Моя мать сказала, что это бриллиант, и я, разумеется, должна была немедленно вернуть его обратно.

Сперва он долго отказывался взять его, потом вырвал его у меня из рук и швырнул его в бешенстве. Я только потом заметила, что у него выступили слезы на глазах. Я достаточно понимала по-еврейски, чтоб разобрать его бормотание: «все проклято, чего не коснется моя рука». Это было мое последнее посещение. Он никогда больше уже не приглашал меня. И я знаю, почему: если бы я не пыталась утешить его, все бы осталось по-прежнему, но так как мне было слишком больно за него, и я сказала ему это, он не хотел больше видеть меня... Вы не понимаете этого, господин Пернат? Это ведь так просто: он – одержимый, – человек, который становится подозрителен, неизлечимо подозрителен, как только кто-нибудь коснется его сердца. Он считает себя еще более уродливым, чем он на самом деле, и этим объясняются

все его мысли и поступки. Говорят, его жена любила его; может быть, это была больше жалость, чем любовь, но все верили этому. Единственный, кто глубоко был убежден в обратном, был он сам. Всюду ему мерещится измена и вражда.

Только для своего сына он сделал исключение. Кто может знать, почему? Может быть, это потому, что он следил за ним с колыбели и как бы переживал вместе с ним зарождение его характера и, таким образом, не оказывалось ничего, к чему могла бы придраться его подозрительность. А может быть, это лежит в еврейской крови: переносить на своих детей всю полноту любви. Может быть, здесь оказывается инстинктивная тревога нашей расы: вдруг мы умрем, не исполнив забытой нами, но смутно продолжающей жить в нас миссии.

С какой осторожностью, едва ли не с мудростью изумительной у такого неразвитого человека, как он, руководил он воспитанием сына. С прозорливостью психолога он старался устранять всякий повод для усиленных проявлений совести, чтобы спасти его будущую душевную жизнь от излишних мучений. Учителем он пригласил выдающегося ученого, по мнению которого животные лишены чувствительности, а всякое проявление боли является у них лишь механическим рефлексом.

Использовать каждое существо, насколько возможно, для собственного удовольствия и затем отбросить его как выжатый лимон, вот в чем приблизительно состоял алфавит его прозорливой воспитательной системы.

Вы поймете, господин Пернат, что деньги являлись в его системе ключом к могуществу и рычагом первостепенной важности. Сам он заботливо скрывал свое богатство, скрывая во мраке границы своего влияния. И вот он изыскал средство воспитать такую же черту в своем сыне. Он позаботился при этом смягчить для него горечь нищенской жизни. Он опьянял его inferнальной ложью о «красоте», разоблачал перед ним внешнюю и внутреннюю сторону эстетики, учил его благоухать полевой лилией, а внутренне быть хищным коршуном.

Разумеется, эта «красота» вряд ли была его собственным изобретением, – вероятно, это было исправленное издание совета, исходившего от какого-нибудь более образованного человека.

То, что впоследствии сын отрекался от него, где и когда только мог, не обижало его. Напротив, он считал это его *долгом*, потому что

любовь его была бескорыстна. Как я однажды выразилась о моем отце: такая любовь переживает смерть.

Мириам на минуту смолкла; и я видел по ней, что она продолжает размышлять в том же направлении. Я это понял по изменившемуся звуку ее голоса. Она сказала:

– Странные плоды вырастают на древе иудейства.

– Скажите, Мириам, – спросил я, – вы никогда не слыхали, что у Вассертрума в лавке стоит восковая фигура? Я уже не помню, кто рассказывал мне об этом... может быть, это даже приснилось мне...

– Нет, нет, это совершенно верно, господин Пернат: восковая фигура в натуральную величину стоит у него в углу, в котором он спит на соломенном мешке, среди своей рухляди. Он много лет тому назад взял его в покрытие долга у одного содержателя балагана только потому, что она была похожа на одну девушку-христианку, которую он, по-видимому, когда-то любил.

«Мать Харусека!» – мелькнуло у меня.

– Вы не знаете, как ее звали, Мириам?

Мириам отрицательно покачала головой. – Если хотите, я могла бы узнать?

– Ах, нет, Мириам, это мне совершенно безразлично. – По ее блестящим глазам я видел, что она говорит с увлечением. «Надо, чтоб она не опомнилась», – подумал я. – Меня гораздо больше интересует то, о чем вы упомянули вскользь только что. Я разумею «весенний ветер». Ваш отец ведь вам не предпишет, за кого именно вы должны выйти замуж?

Она весело рассмеялась.

– Мой отец? О чем вы думаете!

– Ну, это большое счастье для меня.

– Почему? – наивно спросила она.

– Потому что в таком случае, я имею некоторые шансы.

Это была шутка, она иначе и не поняла этого, но все же быстро вскочила и подошла к окну, чтобы скрыть от меня, как она покраснела.

Я помог ей выйти из этого затруднения.

– Я, как старый друг, прошу вас об одном: вы должны посвятить меня в такое дело, если дойдете до него. Или вообще вы не думаете выйти замуж?

– Нет! Нет! Нет! – Она так решительно запротестовала, что я невольно улыбнулся. – Когда-нибудь я должна ведь выйти замуж.

– Естественно. Само собой разумеется! – сказал я.

Она стала нервничать, как подросток.

– Неужели вы не можете хоть одну минуту быть серьезным, господин Пернат? – Я послушно сделал глубокомысленное лицо. Она присела снова.

– Вот что: если я говорю, что когда-нибудь выйду замуж, то это значит, что, не обдумывая пока никаких подробностей, я проявлю совершенное незнание жизни, если допущу, что явилась на свет, чтобы остаться бездетною.

Впервые заметил я женственность в ее чертах.

– Это тоже из области моих снов, – тихо продолжала она. – Как конечную цель, я представляю себе слияние двух существ в одно – в то, что... вы слышали о древнеегипетском культе Озириса... в то, символом чего является «Гермафродит».

Я слушал напряженно.

– Гермафродит?

– То-есть магическое соединение мужского и женского человеческого элемента в полубоге. Как конечная цель! Нет, не конечная цель, а начало нового пути, который вечен, не имеет конца.

– И вы надеетесь найти того, кого вы ищете? – взволнованно спросил я. – Не может разве быть, что он живет в какой-нибудь далекой стране или совершенно не существует на земле?

– Этого я не знаю, – просто сказала она. – Я могу только ждать. Если он отделен от меня временем и пространством, чего я не думаю, чем бы я тогда была связано с гетто? Или, может быть, я отделена от него бездной взаимного незнакомства... и я не найду его, и тогда, значит, вся моя жизнь не имела никакой цели и была бессмысленной игрой какого-то глупого демона... Но я вас очень прошу, не будем больше говорить об этом, – взмолилась она, – стоит только высказать мысль, как она приобретает уже отвратительный привкус земного, а я не хотела бы...

Она внезапно остановилась.

– Чего вы не хотели бы, Мириам?

Она подняла руку. Быстро встала и сказала:

– К вам идут, господин Пернат!

Шелковое платье зашелестело у двери.

Громкий стук в дверь, и...

Ангелина!

Мириам хотела уйти, но я удержал ее.

– Позвольте представить: дочь моего друга... графиня...

– Невозможно проехать. Всюду испорчена мостовая. Когда же поселитесь в достойном вас месте, майстер Пернат? На улице тает снег, небо сияет так, что грудь разрывается, а вы заперлись в каменной норе, как старая жаба... да, кстати, знаете, я вчера была у моего ювелира, и он сказал мне, что вы величайший из современных художников по части камней, а может быть, и величайший из всех когда-либо живших резчиков, – слова Ангелины лились водопадом, и я был очарован. Смотрел в ее сияющие голубые глаза, на маленькие ножки в крохотных лакированных туфлях, смотрел на капризное лицо, выглядывавшее из груды меха, на розовые кончики ушей.

Она едва успевала перевести дух.

– На углу стоит мой экипаж. Я боялась, что уже не застаю вас дома. Вы, вероятно, еще не пообедали? Мы сперва поедем – да, куда мы сперва поедем? Мы сперва поедем... подождите... да: пожалуй, в парк или вообще куда-нибудь на свободу, где по-настоящему чувствуешь прорастание весенних почек. Идемте же, идемте, берите шляпу, потом мы закусим у меня... вечером поболтаем. Берите же шляпу. Чего вы ждете? Там в экипаже теплый мягкий плед: мы закутаемся до ушей и так прижмемся друг к другу, что нам станет жарко.

Что я мог сказать? – Вот только что мы собирались ехать с дочерью моего друга...

Но прежде чем я успел это выговорить, Мириам быстро попрощалась с Ангелиной.

Я проводил ее за дверь, хотя она ласково протестовала.

– Послушайте, Мириам, я не могу здесь вам на лестнице сказать, как я привязан к вам... насколько охотнее я бы с вами...

– Не заставляйте даму ждать, – торопила она, – до свидания, господин Пернат! Веселитесь!

Она сказала это очень сердечно, ласково и непринужденно, но я видел, что глаза ее перестали блестеть.

Она спускалась по лестнице, и боль сжала мне горло.

Мне казалось, что я потерял целый мир.

Как в чаду, сидел я рядом с Ангелиной. Мы быстро мчались по многолюдным улицам.

Жизнь кипела кругом меня, так что, полуоглушенный, я мог различать только блики света в проплывавшей мимо меня картине: сверкающие камни в серьгах и в цепочках от муфт, блестящие цилиндры, белые перчатки дам, пудель с розовым ошейником, который с лаем гнался за нашим колесом, вспененные лошади, мчавшиеся нам навстречу в серебряной упряжи, витрина, в которой светились нити жемчугов и переливающиеся огнями камни, блеск шелка на стройных талиях девушек.

Опьянявшая меня близость горячего тела Ангелины чувствовалась еще резче от порывов дувшего на нас ветра.

Постовые на перекрестках почтительно отскакивали в сторону, когда мы мчались мимо них.

Потом мы ехали тихим шагом по набережной, усыпанной множеством экипажей, мимо обвалившегося каменного моста, мимо толпы зевак, глазевших на всю эту картину.

Я почти не смотрел по сторонам. Малейшее слово из уст Ангелины, ее ресницы, быстрая игра ее губ – все было мне бесконечно дороже, чем наблюдать, как каменные обломки подставляют свои плечи громоздящимся на них ледяным глыбам...

Мы ехали парком. Утоптанная упругая земля. Затем шелест травы под копытами лошадей, влажный воздух, обнаженные исполинские деревья с бесчисленными вороньими гнездами, безжизненная зелень луга с белеющими островками снега – все проносилось предо мной, как во сне.

Только несколькими короткими словами, почти равнодушно, Ангелина упомянула о докторе Савиоли.

– Теперь, когда опасность миновала, – сказала она с восхитительной детской непосредственностью, – и я знаю, что он поправляется, мне кажется ужасно скучным все, что я пережила. Мне хочется снова радоваться, закрыть глаза и погрузиться в сверкающий поток жизни. Я думаю, все женщины таковы. Они только не сознаются в этом. Или они так глупы, что сами этого не знают. Не так ли? – Она не слушала моих ответов. – Впрочем, женщины вообще несколько меня не интересуют. Вы только не думайте, что я хочу вам польстить:

но – право, простая близость симпатичного мужчины мне бесконечно приятнее, чем самая интересная беседа с образованной женщиной. Ведь это, в конце концов, пустяки, о чем бы они ни болтали... В лучшем случае: о нарядах – ну и... А моды часто не меняются... Неправда ли, я легкомысленная? – спросила она вдруг так кокетливо, что я, очарованный, должен был сделать над собой усилие, чтоб не схватить ее голову и не поцеловать ее в шею... – Скажите же, что я легкомысленна!

Она еще ближе придвинулась ко мне и крепко прижалась.

Мы выехали из аллеи. Экипаж проносился мимо роц с одетыми соломой декоративными кустами, похожими на какие-то чудовища с обрубленными руками и головами.

На скамейках, в солнечном свете, сидели люди, смотрели нам вслед и перешептывались.

Мы некоторое время молчали, отдаваясь течению мыслей. Как непохожа была сейчас Ангелина на ту, какую я до сих пор представлял ее себе! Как будто только теперь она стала существовать для меня!

Неужели это та самая женщина, которую я тогда утешал в соборе?

Я не мог отвести глаз от ее полуоткрытого рта.

Она все еще не произнесла ни единого слова. Казалось, что она мысленно погружена в созерцание какой-то картины.

Экипаж ехал по сырому лугу.

Веяло ароматом пробуждающейся земли.

– ...Знаете ли, сударыня?..

– Зовите меня просто Ангелина, – тихо сказала она.

– Знаете, Ангелина... что... сегодня я грезил вами всю ночь, – с усилием произнес я.

Она сделала быстрое, едва уловимое движение, как бы желая вырвать свою руку из моей, и значительно посмотрела на меня.

– Странно! А я вами! Как раз сейчас я о том же... подумала.

Разговор снова оборвался. Мы оба почувствовали, что нам снился один и тот же сон.

Я чувствовал это по биению ее пульса. Ее рука едва заметно дрожала у меня на груди. Она судорожно отвернулась и смотрела в сторону...

Я медленно привлек ее руку к моим губам, снял белую надушенную перчатку, почувствовал ее горячее дыхание и, обезумев от

любви, впился губами в ее ладонь.

Спустя несколько часов я, как пьяный, сходил в вечернем тумане по направлению к городу. Я шел по улицам наугад и незаметно для себя стал кружить на месте.

Потом я остановился над рекой, оперся о железную решетку и смотрел на бушующие волны.

Я все еще чувствовал руку Ангелины у себя на шее, смотрел на каменные контуры фонтана, у которого мы уже когда-то распрощались, много лет тому назад. Над фонтаном склонялись тогда поблекшие листья, и она гуляла со мною, как только что, прислонив голову к моему плечу, молча, по прохладному, туманному парку ее замка.

Я сел на скамейку, низко надвинул шляпу и стал мечтать.

Вода журчала у плотины, и ее шум поглощал последние замирающие звуки сонного города.

Времи от времени я плотнее закутывался в пальто и смотрел на реку. Она погружалась в тень, катилась черно-серым потоком в туманах наступающей ночи. Пена у плотины яркой белой полоской перебегала к противоположному берегу.

Меня ужасала мысль, что я должен вернуться в мою унылую квартиру.

Ликование одного короткого дня сделало меня навсегда чужим в моем собственном доме.

Несколько недель, может быть, только дней, и счастье пройдет... и ничего от него не останется, кроме горестно прекрасного воспоминания.

А тогда?

Тогда я останусь бесприютным и здесь, и там, и по эту, и по ту сторону реки.

Я встал, хотелось бросить сквозь решетку парка еще один взгляд на замок, за окном которого она спала, потом уже идти в мрачное гетто. Я пошел по тому направлению, откуда пришел, ощупью пробираясь в густом тумане вдоль домов, через спящие площади. Черные монументы вставали грозно, за ними одинокие сторожевые будки, очертания барочных фасадов. Тусклый свет фонаря вырастал в огромное фантастическое бледно-радужное кольцо из окружавшего

тумана, переходил в желтоватый, пронзительный взгляд какого-то глаза и рассеивался в воздухе сзади меня.

Я нащупал под ногами широкие каменные плиты, посыпанные песком. Где я очутился? Какое-то ущелье, круто подымавшееся вверх?

Гладкая каменная стена сада справа и слева? Через нее перевешиваются голые ветви деревьев. Они спускались с неба: ствол был скрыт за пеленой тумана.

Несколько сухих тонких сучков с треском обломались – их задела моя шляпа – и упали вниз, в серо-туманную бездну, скрывавшую мои ноги.

Потом светящаяся точка: одинокий огонек вдали... где-то... загадочно... между небом и землей...

Я, очевидно, заблудился. Это мог быть только «старый подъем к замку», возле садов Фюрстенберга...

Затем длинная полоса глинистой земли. Мощеная дорога.

Огромная тень выросла вредо мной, голова в черном суровом остроконечном колпаке: «Далиборка» – Башня Голода, где некогда томились люди, в то время, как внизу, в «Оленьем овраге», короли забавлялись охотой. Тесный переулочек с амбразурами, извилистый проход, такой узкий, что едва пройдешь... и вот я уже перед рядом домиков, величиною не выше моего роста.

Стоило только поднять руку, и я доставал до крыши.

Я попал на улицу «Делателей золота», где в средние века алхимики выплавляли философский камень и отравляли лунный свет.

Дороги отсюда не было никакой, кроме той, по которой я пришел.

Но я уже не мог найти отверстия в стене, через которое я попал сюда... я наткнулся на ограду...

«Ничего не поделаешь: надо разбудить кого-нибудь и узнать дорогу, – сказал я себе. – Странно, что улица кончается домом, который больше других и, по-видимому, обитаем. Я не могу припомнить, чтоб я видел его раньше».

Очевидно, он выштукатурен снаружи, поэтому он так четко выделяется из тумана.

Я иду вдоль забора по узкой тропинке, прижимаюсь лицом к окну: темно. Я стучу в окно... Там появляется дряхлый старик с горящей свечой в руке, старческими, неуверенными шагами идет он от двери к середине комнаты, останавливается, медленно оборачивается к

покрытым пылью ретортам и колбам алхимиков, задумчиво смотрит на гигантскую паутину в углу и направляет взгляд прямо на меня.

Тень от его скул падает на глазные впадины и кажется, что они пусты, как у мумии.

Очевидно, он не замечает меня.

Я стучу в окно.

Он не слышит. Беззвучно, как лунатик, выходит он из комнаты.

Я жду напрасно.

Стучу в ворота: никто не открывает...

Мне ничего не оставалось, как искать выход до тех пор, пока не найду.

«Не лучше ли всего пойти куда-нибудь, где есть люди, – раздумывал я. – К моим друзьям: Цваку, Прокопу и Фрисландеру, в кабачок, где они, без сомнения, сидят еще. Чтоб хоть на несколько часов заглушить в себе жгучую тоску по поцелуям Ангелины». Я быстро направился туда.

Точно трилистник из покойников, торчали они у старого изъеденного червями стола, – все трое с белыми, тонкими, глиняными трубками в зубах, наполняя комнату дымом.

Не без труда можно было различить черты их лиц, так поглощали темно-коричневые стены скупой свет старомодной висячей лампы.

В углу – сухая, как щепка, молчаливая, невзрачная кельнерша, с ее вечным вязальным крючком, с бесцветным взглядом и желтым утиным носом.

На закрытой двери висели матово-розовые портьеры, так что голоса из соседней комнаты звучали тихим жужжанием пчелиного, роя.

Фрисландер в своей конусообразной шляпе с прямыми полями, с его усами, со свинцовым цветом лица и рубцом под глазом, казался утонувшим голландцем забытых веков.

Иосуа Прокоп, засунув вилку в свою длинную шевелюру музыканта, не переставал барабанить чудовищно длинными костлявыми пальцами и с недоумением следил за тем, как Цвак старался надеть красное платье марионетки на пузатую бутылку арака.

– Это Бабинский, – пояснил мне Флисландер необычайно серьезно. – Вы не знаете, кто такой Бабинский? Цвак, расскажите Пернату, кто такой этот Бабинский.

– Бабинский, – тотчас же начал Цвак, не отрываясь ни на мгновение от своей работы, – был когда-то знаменитым в Праге разбойником. Много лет занимался он своим позорным ремеслом и никто не замечал этого. Но мало-помалу стало бросаться в глаза, что в лучших семьях то тот, то другой родственник не появлялся к столу и вдруг исчезал.

Сперва, правда, об этом говорили мало, происходившее имело свою хорошую сторону: можно было меньше расходовать на питание; однако, нельзя было упустить из виду, что репутация общества страдает и что каждый может оказаться предметом сплетни или пересуд.

Особенно, когда дело шло о бесследном исчезновении взрослых девиц.

Сверх того, и самоуважение требовало известной заботы о внешнем облике семейного уклада.

Все чаще и чаще стали появляться в газетах объявления: «Вернись обратно, все простим» – обстоятельство, которого Бабинский, легкомысленный, как все преступники, не учел, – и стали привлекать общее внимание.

В милой деревушке Кртш, около Праги, идиллически настроенный Бабинский создал себе неустанным трудом маленькое, но уютное жилище. Домик, сиявший чистотой, и возле него садик с кустами герани.

Так как доходы не позволяли ему расширяться, он счел необходимым, для того, чтобы иметь возможность незаметно хоронить свои жертвы, отказаться от цветочного партера, как он его не любил, и заменить его простою, заросшею травюю, подходящею могильной насыпью, которую можно было бы без труда удлинять, в зависимости от обстоятельств или от времени года.

На этом холме каждый вечер, после дневных трудов и забот, сиживал Бабинский в лучах заходящего солнца и насвистывал на флейте меланхолические песенки...

– Стоп! – хриплым голосом прервал Иосуа Прокоп, вытащил из кармана ключ, приставил его к губам, как флейту, и запел:

«Цимцерлим... цамбусля... дэ».

– Вы так хорошо знаете мелодию, разве вы там были? – удивленно спросил Фрисландер.

Прокоп злобно взглянул на него.

– Нет, Бабинский жил слишком давно. Но то, что он играл, я, как композитор, знаю отлично. Вы в этом ничего не понимаете: вы не музыкант... Цимцерлим... цамбуся... бусля... дэ.

Цвак с увлечением слушал, пока Прокоп не спрятал своего ключа, затем продолжал:

– Непрерывное увеличение холма возбудило у соседей подозрение, и одному полицейскому из предместья Жижково, который случайно видел издали, как Бабинский душил одну старую даму из высших кругов общества, принадлежит заслуга прекращения злостной деятельности этого чудовища.

Бабинский был арестован в своем убежище.

Суд, принимая во внимание как смягчающее вину обстоятельство его славу, приговорил его к смертной казни через повешение. Он вместе с тем поручил фирме бр. Лайнен доставить необходимые принадлежности для казни, насколько такие материалы соответствовали товарам фирмы. Эти вещи должны были быть вручены правительственному чиновнику за умеренную цену с выдачею квитанции.

Случилось, однако, так, что веревка оборвалась, и Бабинскому казнь была заменена пожизненным заключением.

Двадцать лет просидел убийца в стенах Св. Панкратия и за все это время не обмолвился ни одним словом упрека – еще и до сих пор в том заведении не нахвалятся его образцовым поведением. В торжественные дни рождения нашего повелителя ему разрешалось даже играть на флейте.

Прокоп снова полез за ключом, но Цвак остановил его.

По всеобщей амнистии Бабинский был освобожден от дальнейшего отбывания наказания и получил место швейцара в монастыре «Милосердных сестер».

Легкие садовые работы, которые ему приходилось исполнять, не слишком обременяли его, благодаря приобретенной ранее сноровке в обращении с лопатой. Таким образом, у него оставалось достаточно досуга для просвещения своего разума и сердца путем чтения осмотрительно выбираемых книг.

Последствия этого были в высшей степени отрадны.

Когда в субботу вечером настоятельница отпускала его в трактир развлечься, он каждый раз возвращался затем домой к наступлению ночи. Он говорил, что общий упадок нравственности печалит его, что громадное число всякого рода темных личностей делает улицы небезопасными, так что мирному обывателю разумнее всего возвращаться домой пораньше.

Среди выделывателей восковых фигур возник в это время скверный обычай продавать маленькие изображения, обвешанные красной материей и представлявшие разбойника Бабинского.

В каждой потерпевшей семье оказывалась такая статуэтка.

Статуэтки обычно стояли в витринах магазинов, и Бабинского ничто так не раздражало, как если ему случалось увидеть такую фигурку.

«В высшей степени недостойно и свидетельствует о грубости сердца постоянно напоминать человеку о грехах его юности, – говорил обычно в таких случаях Бабинский. – И можно только скорбеть о том, что власти не принимают никаких мер против такого открытого безобразия».

Даже на смертном одре он продолжал говорить в таком же смысле.

И не напрасно: вскоре после этого власти воспретили торговлю вызывавшими раздражение статуэтками Бабинского...

...Цвак хлебнул большой глоток грогу из своего стакана, и все трое дьявольски перемигнулись; потом он осторожно повернул голову к бесцветно серой кельнерше, и я заметил, как она отерла слезу.

– А вам больше нечего прибавить, кроме... понятно... того, что вы, из благодарности за испытанное вами наслаждение, заплатите по нашему счету, досточтимый коллега, резчик камей? – спросил меня Фрисландер после долгой глубокомысленной паузы.

Я рассказал им о своем блуждании в тумане. Когда я дошел до описания увиденного мною белого дома, все трое, живо заинтересовавшись, вынули трубки изо рта, а когда я кончил, Прокоп, ударив по столу, воскликнул: – Да ведь это просто!.. Все существующие легенды этот Пернат переживает собственной персоной! – Кстати, тогдашний Голем... вы знаете: дело выяснилось.

– Как выяснилось? – спросил я.

– Вы знаете помешанного еврейского нищего Гашиле? Нет? Так вот этот Гашиле оказался Големом.

– Нищий... Големом?

– Да, да, Гашиле был Големом. Сегодня днем это привидение в самом благодушном настроении гуляло на солнышке в своем знаменитом костюме XVII века, по Сальпитергассе, и тут его поймал арканом один собачник.

– Что такое? Я не понимаю ни слова, – вскричал я.

– Я ведь говорю вам: это был Гашиле. Он, как говорят, недавно нашел этот костюм *за какими-то воротами*. Но вернемся к белому домику: это в высшей степени интересно. Существует старинная легенда о том, что там наверху, на улице Алхимиков, стоит дом, видный только в тумане, да и то только счастливым. Он называется: «дом последнего фонаря». Тот, кто днем бывает там, видит только большой серый камень, за ним – крутой обрыв и глубокий олений ров, и вы должны считать счастьем, Пернат, что вы не сделали шага дальше: вы бы безусловно скатились туда и переломали себе все кости.

Под камнем, говорят, лежит огромный клад. Камень этот будто бы положен орденом «азиатских братьев» в качестве фундамента для дома. В этом доме, в конце времен, должен поселиться человек... лучше сказать Гермафродит... Создание из мужчины и женщины. У него в гербе будет изображение зайца... Между прочим: заяц был символом Озириса, и отсюда-то и происходит наш обычный пасхальный заяц.

До того времени, пока не настанет этот срок, значится в легенде, это место охраняется Мафусаилом, дабы сатана не совокупился с камнем и не родил от него сына: так называемого Армилоса. Вы еще об этом Армилосе не слышали... Известно даже, какой у него будет вид (т. е. об этом знают старые раввины), когда он появится на свет: у него будут золотые волосы, собранные сзади в косичку, два затылка, серповидные глаза и длинные до ступней руки.

– Этого уродца стоит нарисовать, – пробормотал Фрисландер и стал искать карандаш.

– Итак, Пернат, – закончил Прокоп, – когда вас постигнет счастье стать Гермафродитом и en passant найти скрытый склад, не забывайте, что я всегда был вашим лучшим другом!

Мне было не до шуток, и на душе у меня заняло.

Цвак заметил это по мне, хотя и не понял причины; он пришел мне на помощь.

– Во всяком случае, в высшей степени странно, почти страшно, что Пернату видение явилось именно в том месте, которое связано со старинной легендой. Это путы, из которых человек по-видимому не может освободиться, пока душа его имеет способность видеть предметы, недоступные осязанию. Ничего не поделаешь: *сверхчувственное* – все же самое прелестное в мире! Как вы думаете?

Фрисландер и Прокоп приняли серьезный вид, и никто из нас не счел нужным ответить.

– Как вы думаете, Эвлалия? – повторил Цвак свой вопрос, обернувшись назад.

Старая кельнерша почесалась вязальной иглой, вздохнула, покраснела и сказала:

– Ах, убирайтесь. Вы – проказник!

– Сегодня весь день мне было не по себе, – начал Фрисландер, как только улегся взрыв смеха, – ни одна черточка мне сегодня не удалась, я думал все время о Розине, как она танцевала тогда во фраке.

– А она снова нашлась? – спросил я.

– Еще как нашлась! Полиция нравов предложила ей длительный ангажемент. Может быть, она тогда у Лойзичек – приглянулась комиссару. Во всяком случае, она теперь лихорадочно работает и заметно увеличивает приток чужестранцев в еврейский квартал. Она сделалась чертовски ловким человеком за короткое время.

– Подумайте только, что женщина делает из мужчины, если он влюбится в нее, – просто удивительно, – заметил Цвак. – Чтоб достать денег и иметь возможность бывать у нее, бедный мальчик Яромир сразу стал художником. Он ходит по кабакам и вырезает силуэты посетителей, которые позволяют делать с себя портреты.

Прокоп, не расслышавший последних слов, чмокнул губами:

– Правда? Она стала такой красавицей, эта Розина! Вы еще не сорвали у нее поцелуя, Фрисландер?

Кельнерша вскочила и, возмущенная, вышла из комнаты.

– Этот стреляный воробей! Этой еще не хватало припадков добродетели! Фи! – досадливо пробормотал Прокоп.

– Ну, что же! Она ушла на непозволительном месте. А кстати и чулок был готов, – примирительно заметил Цвак.

Хозяин принес еще грогу, и беседа постепенно приняла очень фривольный характер. Она мутила мне кровь, и без того лихорадочно кипевшую.

Я противился таким впечатлениям, но чем больше я сосредоточивался и думал об Ангелине, тем навязчивее лезло все это мне в уши.

Я неожиданно встал и распрощался.

Туман становился прозрачнее, проникал в меня своим холодом, но все еще оставался настолько густым, что я не мог разобрать названий улиц и отошел несколько в сторону от моего пути.

Я попал на другую улицу и хотел уже повернуть, как услышал, что меня окликают.

– Господин Пернат! Господин Пернат!

Я оглянулся кругом, посмотрел вверх.

Никого!

Открытые ворота, над ними мелькнул маленький, красный фонарь, и светлая фигура, как показалось мне, почудилась мне в глубине.

И снова:

– Господин Пернат! Господин Пернат!

Шепотом.

С удивлением вошел я в ворота, – теплые женские руки охватили мою шею, а в полосе света, от медленно открывшейся двери, я узнал Розину, пламенно прижимавшуюся ко мне.

XV. Хитрость

Серый тяжелый день.

До позднего утра я спал мертвым сном без сновидений.

Моя старая служанка отлучилась или, может быть, забыла затопить.

В печке лежал холодный пепел.

На мебели пыль.

Пол не выметен.

Я зябко прогуливался взад и вперед по комнате.

Отвратительный запах выдыхаемого спирта наполнял комнату. Пальто и костюм пропахли табаком.

Я открыл окно, но тотчас же захлопнул: холодный грязный воздух улицы был невыносим.

Воробьи, с промокшими крыльями, неподвижно торчали на крышах.

Куда ни глянешь – беспросветная тоска. Все во мне было разорвано, растоптано.

Каким потертым казалось мне сидение на кресле! Конский волос так и торчал из-под краев.

Надо будет послать за обойщиком... Или уж так все оставить... вести нищенскую жизнь, пока все не разлезется в лохмотья.

А там, что за безвкусица, эти нелепые обрывки материи на окнах!

Почему я не скрутил из них веревки и не повесился на ней?!

Тогда бы я, по крайней мере, не видел больше этой мерзости, и вся серая терзающая тоска исчезла бы – раз и навсегда.

Да! Это самое разумное! Положить конец всему.

Сегодня же.

Сейчас же, с утра. До обеда. Какая гадость! Что за отвратительная перспектива убить себя с полным желудком! Лежать в мокрой земле с животом, наполненным непереваренной, разлагающейся пищей!

Ах, если бы никогда не всходило больше солнце и не роняло бы в сердца своей жизнерадостной лжи!

Нет! Я не позволю больше себя дурачить, не хочу больше быть мячом в руках неуклюжей бессмысленной судьбы, то подбрасывающей меня вверх, то кидающей в лужу только для того, чтобы доказать

непрочность всего земного – то, что я давно знаю, что знает каждый ребенок, знает каждая уличная собака.

Бедная, бедная Мириам! Если бы хоть ей помочь!

Значит, надо решиться, серьезно и бесповоротно решиться, прежде чем инстинкт жизни снова проснется во мне и станет рисовать новые призрачные образы.

К чему послужили все эти вести из мира Нетленного?

Ни к чему, решительно ни к чему.

Только к тому разве, чтобы я закружился в своем вихре и ощутил жизнь, как невыносимую муку.

Оставалось только одно.

Я мысленно подсчитал, сколько денег лежало у меня в банке.

Да, именно так. Только это одно при всей своей ничтожности могло иметь еще какую-нибудь ценность в моей ничтожной жизни!

Все, что я имел – несколько драгоценных камней в шкатулке – все это связать и отослать Мириам. Это обеспечит ее, по крайней мере, на несколько лет. А Гиллелю послать письмо и объяснить как было дело с «чудом».

Он одни поможет ей.

Да, он нашел бы выход.

Я разыскал камни, собрал их, посмотрел на часы: если я сейчас пойду в банк, – через час все может быть готово.

И затем еще купить букет красных роз для Ангелины!.. Я весь был охвачен болью и невыносимой тоской... Только бы один день пожить! Один единственный день!

А затем что же? Опять это удушающее отчаяние?

Нет! Ни минуты больше. Меня ободряла мысль, что я справился со своим колебанием.

Я оглянулся вокруг. Что еще оставалось сделать?

Вот напильник. Я положил его в карман, – решил бросить его где-нибудь на улице. Такой план был у меня и раньше.

Я ненавидел этот напильник. Ведь я чуть не сделался убийцей из-за него.

Кто это опять собирается мне помешать?

Это был старьевщик.

– Одну минутку, господин Пернат, – заговорил он умоляющим голосом, когда я намекнул, что у меня нет времени. – Одну маленькую

минуточку. Только два слова.

По лицу его бежали струйки пота, он весь дрожал от возбуждения.

– Можно с вами здесь говорить с глазу на глаз, господин Пернат? Я не хочу, чтобы этот – этот Гиллель опять пришел. Заприте дверь, или пойдете в ту комнату. Резким движением он потащил меня за собой.

Затем, робко оглянувшись, он хрипло прошептал:

– Знаете, я передумал... все это. Так лучше. Ничего не выйдет. Хорошо. Прошло, так прошло.

Я старался читать в его глазах.

Он выдержал мой взгляд, но это стоило ему таких усилий, что он судорожно схватился рукою за спинку кресла.

– Это радует меня, господин Вассертрум, – как можно дружелюбнее сказал я, – жизнь и так слишком печальна, зачем еще отравлять ее ненавистью.

– Правильно, как будто вы читаете по печатной книге, – облегченно промычал он, полез в карман и снова вытащил золотые часы с выпуклой крышкой. – И чтобы вы поняли, что я это говорю серьезно, вы должны взять у меня эту безделушку. В подарок.

– Что вам пришло в голову, – запротестовал я. – Не думаете же вы... – я вспомнил то, что Мириам говорила о нем, и протянул руку, чтобы не обидеть его.

Он не заметил этого, вдруг побледнел, как стена, насторожился и прошипел:

– Вот, вот. Я знал. Опять этот Гиллель! Это он стучит! Я прислушался и вышел в первую комнату, для его успокоения полузакрыв за собой дверь.

На этот раз был не Гиллель. Вошел Харусек, приложил палец к губам, чтобы дать понять, что он знает, кто здесь, и сейчас же, не дав мне опомниться, обрушился на меня целым потоком слов.

– О, досточтимый и дражайший мастер Пернат, как найти мне слова, чтобы выразить мою радость по поводу того, что я застал вас дома и совершенно одного... – Он говорил по-актерски, и его напыщенная ненатуральная речь так не гармонировала с его перекосившимся лицом, что мне стало жутко.

– Никогда, маэстро, никогда я не осмелился бы зайти к вам в моих лохмотьях, в которых вы наверное не раз видали меня на улице – что я говорю: видали! неоднократно вы милостиво протягивали мне руку.

И если я сегодня могу предстать перед вами в белом воротничке и в чистом костюме – вы знаете, кому я обязан этим? Одному из благороднейших и, увы, самых непризнанных людей нашего города. Я не могу спокойно думать о нем.

Сам обладая весьма скромным состоянием, он щедрой рукой помогает бедным и нуждающимся. Когда я вижу его печально стоящим у своего лотка, из самой глубины души встает во мне желание подойти к нему и без слов пожать ему руку.

Несколько дней тому назад он позвал меня к себе, когда я проходил мимо, подарил мне денег и дал мне возможность купить в рассрочку костюм.

И знаете, майстер Пернат, кто оказался моим благодетелем? Я говорю это с гордостью, потому что и до того я был единственным человеком, который прозревал, какое золотое сердце бьется в его груди:

Это был – господин Аарон Вассертрум!

...Не трудно было понять, что Харусек ломает комедию перед старьевщиком, который все это слышал, но вместе с тем для меня было неясно, для чего все это происходит; лесть была слишком груба и не могла обмануть недоверчивого Вассертрума. По моему недоумевающему виду Харусек угадал, о чем я думаю, с усмешкой мотнул головой, и все дальнейшие его слова должны были мне подтвердить, как хорошо он знает Вассертрума и как нужно перед ним говорить.

– Да! да! господин Аарон Вассертрум! У меня сердце сжимается при мысли, что я не могу ему самому сказать, как бесконечно ему обязан. Заклинаю вас, майстер, не выдайте меня, не говорите ему, что я здесь был и все вам рассказал... Я знаю, как ожесточила его человеческая алчность и какое глубокое, неизлечимое и – увы – справедливое недоверие она поселила в его груди.

Я психиатр, но и мое непосредственное чувство говорит мне, что так лучше: господин Вассертрум не узнает никогда из моих уст, как высоко я ценю его. Сказать это, значило бы поселить сомнение в его несчастном сердце, а этого я не хочу. Пусть он лучше считает меня неблагодарным.

Майстер Пернат! Я сам несчастен и с детских лет знаю, что значит быть в мире одиноким и покинутым! Я даже не знаю имени

моего отца. Своей матери я никогда в лицо не видал. Она очевидно умерла молодой, – голос Харусека звучал необычайно таинственно и проникновенно, – и была, я уверен, из тех глубоких и скрытых натур, которые никогда не могут высказать всей беспредельности своей любви, из натур, к которым принадлежит и Аарон Вассертрум.

У меня есть вырванная страница из дневника моей матери – я всегда ношу ее при себе на груди – и в ней сказано, что, несмотря на уродство отца, она любила его так, как еще никакая смертная женщина не любила мужчину. Но об этом, кажется, она никогда не говорила ему, по такой же приблизительно причине, по какой я, например, не могу сказать Вассертруму, – хоть разорвись у меня сердце, – о всей глубине моей благодарности.

Но еще одно вытекает из этой странички дневника, хотя об этом я могу лишь догадываться, так как строчки неразборчивы от слез: [12](#) мой отец – да сотрется память о нем на земле и на небе – жестоко поступил с моей матерью.

Харусек вдруг упал на колени, так стремительно, что пол задрожал, и закричал таким исступленным голосом, что я не знал, все еще продолжает он комедию или сошел с ума:

– О ты, Всемогущий, чьего имени человек не дерзает произнести, вот на коленях я пред тобой: проклят, проклят, проклят, да будет мой отец во веки веков! Он едва произнес последние слова и в течение секунды прислушивался с широко раскрытыми глазами.

Затем у него появилась мефистофельская улыбка. Мне тоже послышалось, что Вассертрум, рядом с нами, тихо простонал.

– Простите, маэстро, – продолжал Харусек, выдержав паузу, притворно задыхаясь. – Простите, что я увлекся, но я с утра до ночи молюсь о том, чтобы Всевышний даровал моему отцу, кто бы он ни был, самый горький конец, какой только можно представить себе.

Мне хотелось возразить, но Харусек быстро перебил меня.

– Теперь, майстер Пернат, я перехожу к моей просьбе. Господин Вассертрум оказывал поддержку одному человеку, которого он чрезмерно любил – это был, по-видимому, его племянник. Говорят даже, что это был его сын, но я не допускаю этого, потому что в таком случае у него была бы та же фамилия, а его звали Вассори, доктор Теодор Вассори.

Слезы навертываются у меня на глазах, когда вспоминаю о нем. Я был предан ему всей душой, как если бы меня соединяли с ним неразрывные узы любви и родства.

Харусек всхлипнул, как будто не мог от волнения продолжать дальше.

– Ах, и этот благороднейший человек должен был расстаться с жизнью! Увы! увы!

Что довело его до этого – я так и не узнал, – но он сам покончил с собой. Я был в числе тех, которых позвали на помощь... увы, слишком поздно, слишком поздно! И когда я потом стоял у его смертного одра и осыпал поцелуями его бледную холодную руку – зачем скрывать, майстер Пернат? – это ведь была не кража... но я присвоил себе одну розу с груди покойника и захватил склянку с ядом, так преждевременно пресекшим его цветущую жизнь.

Харусек вынул скляночку и продолжал с дрожью в голосе:

– И то и другое я оставляю у вас на столе, и увядшую розу, и пузырек: они были мне памятью об умершем друге.

Как часто, в часы глубокого уныния, когда в моем сердечном одиночестве и в тоске по моей покойной матери я хотел смерти, я играл с этой склянкой и чувствовал тихое утешение при мысли: стоит мне только пролить эту жидкость на платок и вдохнуть ее – и я безболезненно перенесусь в те края, где мой добрый, дорогой Теодор нашел отдохновение от трудов нашей скорбной юдоли.

И я прошу вас, уважаемый маэстро, – для этого я и пришел, – взять эти вещи и передать их господину Вассертруму.

Скажите ему, что вы получили их от лица, которое было близко к доктору Вассори, но имени которого вы поклялись не называть – пусть от какой-нибудь дамы.

Он поверит, и для него это будет драгоценной памятью, как было для меня.

Пусть это будет выражением моей тайной благодарности ему. Я беден, и это все, что у меня есть, но мне радостно знать: это будет теперь у *него*, и ему и в голову не придет, что я дал ему это.

Это доставляет мне необычайное удовольствие.

А теперь прощайте, дорогой маэстро, я заранее тысячу раз благодарю вас.

Он крепко схватил меня за руку, подмигнул, я все еще недоумевал, и он едва слышно прошептал мне:

– Подождите, господин Харусек, я вас провожу немного. – Механически повторил я слова, которые прочел на его губах и вышел с ним.

Мы остановились в темном углу лестницы в первом этаже, и я хотел попрощаться с ним.

– Я понимаю, чего вы добивались этой комедией... Вы... вы хотите, чтоб Вассертрум отравился из этой склянки.

Я сказал ему это прямо в лицо.

– Конечно, – возбужденно ответил Харусек.

– И вы думаете, что к *этому* я приложу руку?

– В этом нет надобности.

– Но ведь вы просили меня передать эти вещи Вассертруму? – Харусек отрицательно покачал головой.

– Когда вы вернетесь, вы увидите, что он уже взял их.

– Почему вы так думаете? – с удивлением спросил я. – такой человек, как Вассертрум, никогда не лишит себя жизни, он слишком труслив, и никогда не повинуется непосредственному импульсу.

– Тогда вы не знаете, что такое медленный яд внушения, – серьезным тоном перебил меня Харусек. – Если бы я говорил простыми словами, вы, пожалуй, оказались бы правы, но я заранее обдумал каждую интонацию. Только самый отвратительный пафос действует на этих собак. Верьте мне! Я могу воспроизвести вам игру его физиономии при каждой моей фразе. Нет такой самой отвратительной «мазни», как говорят художники, которая не могла бы исторгнуть слезу до мозга костей изолгавшейся черни, – уколоть ее в сердце. Разве вы не думаете, что будь это иначе, уже давно все театры были бы истреблены огнем и мечом? По сентиментальности узнают сволочь. Тысячи бедняков могут умирать с голоду, и это никого не проймет, но если какой-нибудь размалеванный паяц, одетый в лохмотья, закатит глаза на сцене, – они начинают выть, как собака на цепи... Если мой батюшка Вассертрум и забудет завтра то, от чего он так страдал сегодня – каждое слово мое оживет в нем в тот час, когда он сам себе покажется бесконечно жалким. В такие минуты величайшей скорби нужен только незначительный толчок – а об этом я позабочусь, – и самая трусливая лапа хватается за яд. Надо только,

чтоб он был под рукою! И Теодорхен не глотнул бы яда, пожалуй, если бы я столь любезно не позаботился о нем.

– Харусек, вы ужасный человек, – возмущенно вскрикнул я. – Вы разве не чувствуете никакого...

Он быстро зажал мне рот рукой и толкнул меня в нишу стены.

– Тише! Вот он!

Спотыкаясь, держась за стену, Вассертрум спускался с лестницы и проскользнул мимо нас.

Харусек торопливо пожал мне руку и шмыгнул за ним.

...Когда я вернулся к себе в комнату, я увидел, что, действительно, нет ни розы, ни бутылочки, а на их месте на столе – золотые выпуклые часы старьевщика.

«Чтоб получить денег, вы должны подождать неделю. Это обычный срок востребования». Так заявили мне в банке.

Я потребовал директора, решил объяснить ему, что время не терпит, что через час я должен уехать.

Директора нельзя видеть, как оказалось, да он не мог бы ничего изменить в правилах банка. Какой-то молодчик со стеклянным глазом, подошедший одновременно со мной к окошечку, злорадно засмеялся...

Целую неделю, серую, мучительную, придется мне ждать смерти!

Это показалось мне бесконечной оттяжкой... Я был этим так убит, что почти не сознавал, что уже очень долго хожу взад и вперед перед каким-то кафе.

Наконец, я вошел, только чтоб отделаться от этого неприятного субъекта со стеклянным глазом. Он шел следом за мной из банка, не отставая от меня ни на шаг, и когда я на него поглядывал, он начинал рассматривать мостовую, точно ища чего-то.

На нем был светлый, клетчатый, слишком узкий пиджак и черные, лоснившиеся от жира брюки, болтавшиеся на нем, как мешки на ногах. На левом сапоге у него оттопыривалась заплатка яйцевидной формы, так что казалось, что у него на пальце ноги был перстень.

Не успел я присесть, как вошел и он и уселся у соседнего столика.

Я подумал, было, что он хочет попросить у меня денег, и полез за бумажником, но тут я заметил большой бриллиант, сверкавший на его опухшем мясистом пальце.

Не один час просидел я в кафе; мне казалось, что я сойду с ума от какого-то внутреннего беспокойства; но куда идти? Домой? шляться по улицам? Одно казалось мне ужаснее другого.

Спертый воздух, неумолкающий нелепый стук бильярдных шаров, непрерывный кашель какого-то подслеповатого газетного тигра за соседним столиком; пехотный лейтенант с журавлиными ногами, попеременно то ковырявший в носу, то прилаживавший желтыми от табаку пальцами свои усы, держа перед собой карманное зеркальце; в углу за карточным столиком шум одетых в бархат отвратительных, потных, болтливых итальянцев, которые то с резким визгом, стуча кулаком по столу, выкидывали карты, то плевали на пол. И все это удваивалось и утраивалось в стенных зеркалах. У меня это медленно высасывало кровь из жил...

...Мало-помалу становилось темно. Кельнер со своими плоскими ступнями и кривыми ногами поправлял стержнем огонь на газовых рожках и затем, покачивая головой, отходил от них, убедившись, что они не хотят гореть.

Оборачиваясь, я каждый раз встречал острый волчий взгляд молодчика. Он быстро скрывался за газету или опускал свои грязные усы в давно уже выпитую чашку кофе.

Он низко нахлобучил свою твердую, круглую шляпу, так что уши его торчали почти горизонтально, но уходить он еще не собирался.

Это стало невыносимо.

Я расплатился и вышел.

Когда я закрывал за собой стеклянную дверь, кто-то схватился за ее ручку – я обернулся.

Опять этот субъект.

Я с досады хотел повернуть налево по направлению к еврейскому кварталу, но он оказался предо мной и заградил мне дорогу.

– Да отстаньте вы, наконец! – крикнул я.

– Пожалуйста направо, – коротко сказал он.

– То есть, как это?

Он нагло посмотрел на меня.

– Вы – Пернат!

– Вы хотели, вероятно, сказать: *господин* Пернат?

Он злорадно улыбнулся.

– Без фокусов! Пожалуйста за мной!

– Да вы с ума сошли? Да кто вы такой? – возмутился я.

Он ничего не ответил, распахнул пиджак и осторожно показал мне истертый металлический значок, прикрепленный к подкладке.

Я понял: этот хлыщ был сыщиком и хотел арестовать меня.

– Да скажите, ради Бога, в чем дело?

– Узнаете, будьте покойны. В департаменте, – грубо ответил он. – Марш за мной!

Я предложил ему взять извозчика.

– Не стоит!

Мы пошли в полицию.

Жандарм подвел меня к двери. На фарфоровой дощечке я прочитал:

АЛОИЗ ОТШИН

Полицейский советник

– Войдите, пожалуйста, – сказал жандарм.

Два грязных письменных стола с грудями бумаг стояли друг против друга.

Между ними несколько поломанных стульев.

На стене портрет императора.

Банка с золотыми рыбками на подоконнике.

Больше ничего не было в комнате.

Кривая нога и толстый сапог под обтрепанными серыми брюками виднелись под левым столом.

Я услышал шум. Кто-то пробормотал несколько слов по-чешски, и тотчас же из-за правого стола показался сам полицейский советник. Он подошел ко мне.

Это был невысокого роста мужчина с седой бородкой. Прежде чем начать говорить, он оскаливал зубы, как человек, который смотрит на яркий солнечный свет.

При этом он как-то сводил глаза под очками, что придавало ему отвратительно гнусный вид.

– Вы Атанасиус Пернат, – он взглянул на лист бумаги, на котором ничего не было написано, – резчик камней?

Тотчас же оживился кривоногий за своим столом: он заерзал на стуле, и я услышал скрип пера.

Я подтвердил:

– Пернат. Резчик камней.

– Ну, вот мы и встретились, господин... Пернат... да, да... господин Пернат. Да, да. – Господин полицейский советник сразу стал удивительно любезен, точно он вдруг получил откуда-то очень радостное известие, протянул мне обе руки и, улыбаясь, попробовал придать себе выражение довольного обывателя.

– Итак, господин Пернат, расскажите, что вы делаете целый день?

– Я думаю, что это вас не касается, господин Отшин, – холодно ответил я.

Он прищурил глаза, подождал минуту и быстро продолжал:

– С каких пор графиня в связи с Савиоли?

Я ждал чего-нибудь в этом роде, и не моргнул глазом.

Он ловко пытался путем сбивчивых и повторных вопросов уличить меня в противоречиях, но я, как ни билось у меня сердце от возмущения, не выдал себя и все возвращался к тому, что имени Савиоли я никогда не слышал, что с Ангелиной я дружу еще с тех пор, когда был жив мой отец, и что она уже неоднократно заказывала мне камеи.

Несмотря на все, я чувствовал, что полицейский советник угадывает всю мою ложь и что он задыхается от ярости, не будучи в состоянии добиться чего-нибудь от меня.

Он на минуту задумался, затем привлек меня за лацкан пиджака близко к себе, предостерегающе указал толстым пальцем на левый стол и начал шептать мне на ухо:

– Атанасиус! Ваш покойный отец был моим лучшим другом. Я хочу спасти вас, Атанасиус! Но вы должны рассказать мне все, что знаете о графине. Вы слышите: все.

Я не мог понять смысл его слов.

– Что значит: вы хотите меня спасти? – громко спросил я.

Кривая нога раздраженно топнула. Советник посерел от злости. Вытянул губу. Ждал. Я знал, что он сейчас еще раз наскочит (его система огораживать напомнила мне Вассертрума), и ждал.

Я заметил козлиную физиономию, принадлежавшую обладателю кривой ноги. Она прислушивалась, выглядывая из-за стола... Вдруг полицейский, обращая ко мне, пронзительно вскрикнул:

– *Убийца*. Я оцепенел от изумления.

Козлиная голова снова угрюмо спряталась.

Господин полиции советник был немало раздражен моим спокойствием, ловко скрыл это, однако, подал мне стул и предложил сесть.

– Так что вы отказываетесь дать нужные мне показания относительно графини, господин Пернат?

– Я не могу их дать, господин советник, по крайней мере, в таком духе, как вы ждете. Во-первых, я никогда не слышал имени Савиоли, и затем я твердо убежден в том, что это клевета, если говорят о графине, что она обманывает своего мужа.

– Вы готовы подтвердить это под присягою?

У меня захватило дух.

– Да! Когда угодно.

– Отлично. Гм.

Наступила длинная пауза, во время которой советник, казалось, напряженно размышлял.

Когда он снова взглянул на меня, на его роже появилось выражение притворного сострадания. Я невольно вспомнил Харусека с его дрожащим от слез голосом.

– Мне ведь вы это можете сказать, Атанасиус, мне, старому другу вашего отца, мне, который носил вас на руках. – Я едва удержался от улыбки: он был в лучшем случае лет на десять старше меня. – Не правда ли, Атанасиус, это была только самооборона!

Козлиная физиономия снова вынырнула.

– Что было самообороной? – изумленно спросил я.

– Это... С этим... Цоттманом! – бросил он мне это имя в лицо.

Это слово кольнуло меня, как кинжалом: Цоттман! Цоттман! Часы! Имя Цоттмана было вырезано на часах.

Я чувствовал, как вся кровь бросилась к сердцу: мерзавец Вассертрум дал мне часы, чтобы навлечь на меня подозрение в убийстве.

Советник тотчас же сбросил маску, оскалил зубы и прищурил глаза.

– Так что вы сознаетесь в убийстве, Пернат?

– Это все ошибка, ужасная ошибка. Ради Бога, выслушайте меня. Я могу вам объяснить, господин советник... – закричал я.

– Теперь сообщите мне только то, что касается графини, – быстро перебил он меня. – Я обращаю ваше внимание: вы облегчите этим вашу участь.

– Я не могу сказать ничего, кроме того, что сказал: графиня невинна, – вскричал я.

Он стиснул зубы и обратился к козлиной физиономии:

– Запишите: Пернат сознался в убийстве страхового агента Карла Цоттмана.

Меня охватило безумное бешенство.

– Эх вы, полицейская сволочь, – вырвалось у меня, – как вы смеете?

Я искал какого-нибудь тяжелого предмета.

В одно мгновение двое полицейских схватили меня и надели на меня кандалы.

Советник раздувался, как петух на навозной куче.

– А часы? – он вытащил вдруг выпуклые часы. – Несчастный Цоттман был еще жив, когда вы их снимали с него, или нет?

Я снова совершенно овладел собой и твердым голосом продиктовал секретарю:

– Часы сегодня утром подарил мне старьевщик Аарон Вассертрум.

Послышался раскатистый хохот, и я заметил, как кривая нога и сапог пустились в радостный пляс под пальто.

XVI. Мытарство

Я должен был идти по освещенным вечерними огнями улицам. Мои руки были скованы, шедший за мною жандарм нес ружье с надетым штыком.

Уличные мальчишки справа и слева бежали толпами и кричали, женщины открывали окна и грозили мне ложками, посылая вдогонку ругательства.

Уже издали я увидел большие каменные очертания суда с надписью на фронте:

«Карающее правосудие – защита всех честных»

Через раскрывшиеся предо мною огромные ворота я попал в коридор, в котором пахло кухней.

Бородатый человек с саблей, в форменном сюртуке и фуражке, босой, в длинных, завязанных у щиколотки кальсонах поднялся, поставил кофейную мельницу, которую он держал между колен, и велел мне раздеться.

Затем он обшарил мои карманы, вынул все, что нащупал там, и спросил, нет ли на мне клопов.

Когда я ответил отрицательно, он снял у меня с пальцев кольца и сказал, что все готово и что я могу одеться.

Меня повели на несколько этажей выше по лестницам и коридорам, где в нишах стояли – то тут, то там – большие, серые, запертые сундуки.

Вдоль стены шли непрерывной вереницей железные двери с засовами и маленькими решетчатыми вырезами, с газовым огоньком над каждым из них.

Огромный, солдатской наружности надзиратель – первое честное лицо за все эти часы – открыл одну из дверей, втокнул меня в темное, похожее на шкаф, зловонное помещение и запер за мной дверь.

Я стоял в совершенной темноте и ощупывал стены.

Наткнулся коленом на жестяной чан.

Наконец, я нашел – было так узко, что я едва мог повернуться – дверную ручку. Я в одиночной камере.

У стен находились парные нары с соломенными мешками.

Проход между ними был не шире одного шага.

Оконная решетка в квадратный метр, высоко вверху на косо́й стене, пропускала неясный свет ночного неба.

Невозможная жара, удушливый запах старого платья висели в воздухе.

Когда мои глаза освоились с темнотой, я увидел на трех нара́х – четвертая была свободна – людей в серых арестантских халатах; они сидели, уставив локти в колени и закрыв лица руками.

Никто не сказал ни слова.

Я сел на свободную постель и стал ожидать. Ждал. Ждал.

Прошел час.

Два, три часа!

При звуке шагов снаружи я вздрагивал.

Вот, вот идут за мой, отвести меня к следователю.

Но каждый раз это оказывалось обманом. Шаги замирали в коридоре.

Я сорвал с себя воротник... казалось, я задыхаюсь.

Я слышал, как арестанты, кряхтя, один за другим укладывались спать.

– Нельзя ли открыть здесь окно? – бросил я в отчаянии вопрос в темноту. При этом я испугался моего собственного голоса.

– Нельзя, – раздался угрюмый ответ с одного из мешков.

Я все же стал шарить рукою вдоль стены: на высоте груди торчала доска... две кружки... корки хлеба.

Я с трудом вскарабкался на доску, ухватился за прутья решетки и прижался лицом к оконным щелям, чтоб вдохнуть хоть немного воздуха.

Так я стоял, пока у меня не задрожали колени. Однообразный черно-серый ночной туман расстилался перед глазами.

Холодные прутья решетки запотели.

Очевидно скоро полночь.

Я слышал позади храпение. Только один из арестантов не мог заснуть, по-видимому: он метался на соломе и время от времени тихо стонал.

Придет ли наконец утро?! Вот. Бьют часы.

Я считал дрожащими губами.

– Раз, два, три! – Слава Богу, еще несколько часов, и начнет светать. Часы продолжали бить.

– Четыре? Пять? Пот выступил у меня на лбу. – Шесть... семь!!! – Было только *одиннадцать* часов.

Только час прошел с тех пор, как я слышал бой городских часов в последний раз.

Постепенно мои мысли стали проясняться.

Вассертрум подсунил мне часы исчезнувшего Цоттмана, чтобы навести на меня подозрение в убийстве. Значит, очевидно, он сам убийца; в противном случае, откуда бы у него были эти часы? Если бы он нашел где-нибудь труп и только ограбил его, он бы, без сомнения, потребовал тысячу гульденов награды, объявленной за открытие пропавшего без вести. Этого не могло быть: объявления еще до сих пор висят на всех углах, я ясно видел их по дороге в тюрьму...

Старьевщик донес на меня – это было очевидно.

Ясно было одно: в том, что касалось Ангелины, он был заодно с советником полиции. Иначе, к чему был допрос о Савиоли.

С другой стороны, из этого вытекало, что Вассертрум еще не имел в руках писем Ангелины.

Я задумался...

Сразу вдруг все стало для меня так ужасающе ясно, как будто все произошло при мне.

Да, только так могло быть: Вассертрум, обыскивая мою комнату вместе с полицейскими, тихонько присвоил себе мою железную шкатулку, подозревая в ней доказательства... но он не мог ее тотчас же открыть, потому что ключ был при мне, и... может быть, как раз в эту минуту он взламывает ее в своей берлоге.

В безумном отчаянии рвал я железную решетку, видел Вассертрума перед собой, видел, как он роется в письмах Ангелины...

Ах, если бы я мог заблаговременно известить Харусека, чтоб он, по крайней мере, мог предупредить Савиоли.

На мгновение я предался надежде, что известие о моем аресте облетит еврейский квартал, и я уповал на Харусека, как на ангела-спасителя. Старьевщик не спасется от его чертовской хитрости. Харусек уже сказал однажды: «Я его схвачу за горло как раз в тот момент, когда он захочет убить доктора Савиоли».

Но в следующую минуту я снова отбросил все это, меня охватил дикий ужас: что, если Харусек придет слишком поздно.

Тогда Ангелина пропала...

Я до крови кусал себе губы, сердце разрывалось у меня от отчаяния, что я тогда же немедленно не сжег писем... я давал себе клятву уничтожить Вассертрума, как только окажусь на свободе.

Умереть от собственной руки или на виселице – какая разница?

В том, что следователь поверит мне, когда я ему правдиво расскажу всю историю с часами, расскажу ему об угрозах Вассертрума – в этом я не сомневался.

Без сомнения, завтра я уже буду на свободе, по меньшей мере, заставлю арестовать по подозрению в убийстве и Вассертрума.

Я считал часы, молился, чтобы они скорее прошли, смотрел в черную мглу.

После невыразимо долгих часов стало, наконец, светать; сначала мутным пятном, потом все яснее и яснее стало выделяться из тумана медное огромное лицо: циферблат старинных башенных часов. Но *стрелок на нем не было* – новая мука.

Вскоре пробило пять.

Я слышал, как проснулись арестанты и, зевая, стали беседовать по-чешски.

Один голос показался мне знакомым, я обернулся, спустился с доски и увидел против себя рябого Лойзу на нарах. Он сидел и удивленно смотрел на меня.

Остальные арестанты были парни с нахальными лицами; они оглязывали меня пренебрежительно.

«Контрабандист? Что?» – спросил один другого вполголоса, толкнув его локтем.

Тот презрительно пробормотал что-то, порылся в своем мешке, вытащил оттуда кусок черной бумаги и положил на пол.

Затем он полил его водой из кувшина, стал на колени и, смотрясь в него, как в зеркало, стал причесываться пальцами.

Затем он с заботливой осторожностью высушил бумагу и снова спрятал ее в мешок.

– Пан Пернат, пан Пернат! – непрерывно шептал Лойза, вытаращив на меня глаза, как будто пред ним было привидение.

– Товарищи знают друг друга, как погляжу, – с удивлением сказал, заметив это, непричесанный на невозможном говоре чешского венца, причем он отвесил мне иронический полупоклон. – Разрешите представиться: меня зовут Воссатка, Черный Воссатка... Поджоги... – с гордостью прибавил он, одной октавой ниже.

Причесавшийся сплюнул, одну минуту презрительно посмотрел на меня, ткнул себя пальцем в грудь и сказал кратко:

– Грабеж...

Я молчал.

– Ну, а вы-то по какому делу сюда попали, господин граф? – спросил венец после паузы.

Я на секунду задумался, затем спокойно сказал:

– Убийство.

Они были поражены, презрительная улыбка на их лицах сменилась выражением беспредельного уважения; они воскликнули единодушно:

– Важно! Важно!

Увидав, что я не обращаю на них никакого внимания, они отодвинулись в угол и начали беседовать шепотом.

Только один раз причесанный подошел ко мне, без слов пощупал мускулы на моей руке и, покачивая головой, вернулся к приятелю.

– Вы здесь по подозрению в убийстве Цоттмана? – осторожно спросил я Лойзу.

Он кивнул головой:

– Да, уже давно.

Снова потекли часы.

Я закрыл глаза и притворился спящим.

– Господин Пернат! Господин Пернат! – услышал я вдруг шепот Лойзы.

– А.? – Я сделал вид, что проснулся.

– Господин Пернат, пожалуйста, простите меня... скажите... скажите, вы не знаете, что с Розиной?.. Она дома? – лепетал несчастный мальчик. Мне было бесконечно больно видеть, как он впился горящими глазами в мои губы и судорожно сжимал руки от волнения.

– У нее благополучно. Она теперь кельнерша, в «Старом Бедняке», – солгал я.

Я видел, как он облегченно вздохнул.

Два арестанта безмолвно внесли на доске жестяные миски с горячим колбасным отваром и три из них оставили в камере. Через несколько часов снова заскрипели засовы, и смотритель повел меня к следователю.

У меня дрожали колени от неизвестности, когда мы шли вверх и вниз по лестницам.

– Как вы думаете, возможно ли, что меня сегодня же освободят? – тревожно спросил я смотрителя.

Я видел, как он сострадательно подавил улыбку.

– Гм. Сегодня? Гм... Боже мой... все возможно.

Меня бросило в озноб.

Снова прочитал я на фарфоровой дощечке:

Барон Карл фон-Лейзетретер

Следователь

Снова простая комната, два пульта с грудями бумаг.

Старый, высокого роста, человек, с седою, разделенной надвое, бородкой, в черном сюртуке, с красными мясистыми губами со скрипучими ботинками.

– Вы господин Пернат?

– Да.

– Резчик камей?

– Да.

– Камера № 70?

– Да.

– По подозрению в убийстве Цоттмана?

– Прошу вас, господин следователь...

– По подозрению в убийстве Цоттмана?

– Вероятно. По крайней мере, я думаю так. Но...

– Сознаетесь?

– Нет.

– Тогда я начну следствие. – Караульный, отведите.

– Выслушайте меня, пожалуйста, господин следователь, – мне необходимо сегодня же быть дома. У меня неотложные дела...

За вторым столом кто-то хихикнул.

Барон улыбнулся.

– Караульный, отведите.

День уползал за днем, неделя за неделей, а я все сидел в камере.

В двенадцать часов нам ежедневно полагалось сойти вниз на тюремный двор и попарно, вместе с другими подследственными и арестантами, в течение сорока минут ходить по сырой земле.

Разговаривать воспрещалось.

Посреди двора стояло голое, умирающее дерево, в кору которого вросла овальная стеклянная икона Божьей Матери.

Вдоль стен росли унылые кусты с листьями, почти черными от оседающей на них копоти.

Кругом – решетки камер, за которыми порою мелькали серые лица с бескровными губами.

Затем полагалось идти наверх, в свои камеры, к хлебу, воде, к колбасному отвару, по воскресениям – к гнилой чечевице.

Еще один только раз я был на допросе.

– Были ли свидетели при том, как «господин» Вассертрум подарил вам часы?

– Да, господин Шемайя Гиллель... то есть... нет (я вспомнил, что при этом он не был) ...но господин Харусек... (нет, и его не было при этом).

– Короче говоря: никого не было.

– Нет, никого, господин следователь.

Снова хихиканье за пультом и снова:

– Караульный, отведите.

Мое беспокойство об Ангелине сменилось тупой покорностью: момент, когда надо было дрожать за нее, прошел. Либо мстительный план Вассертрума уже давно осуществился, либо Харусек вмешался в дело, говорил я себе.

Но мысли о Мириам положительно сводили меня с ума.

Я представлял себе, как с часу на час она ждет, что снова произойдет чудо, – как рано утром, когда приходит булочник, она

выбегает и дрожащими руками исследует булку, как она, может быть, изнывает от беспокойства за меня.

Часто по ночам я вскакивал с постели, взлезал на доску у окна, смотрел на медное лицо башенных часов и исходил желанием, чтоб мои мысли дошли до Гиллея, прозвучали ему в ухо, чтоб он помог Мириам и освободил ее от мучительной надежды на чудо.

Потом я снова бросался на солому и сдерживал дыхание так, что грудь у меня почти разрывалась. Я стремился вызвать образ моего двойника и послать его к ней, как утешителя.

Раз как-то он появился перед моей постелью, с зеркальными буквами на груди: «Chabrat Zereh Aur Bocher», и я хотел вскрикнуть от радости, что теперь все хорошо, но он провалился сквозь землю раньше, чем я успел приказать ему пойти к Мириам...

Никаких известий от моих друзей не было.

– Не запрещено посылать письма? – спросил я товарищей по камере.

Они не знали.

Они никогда не получали писем, да и некому было им писать.

Караульный обещал мне при случае разузнать об этом.

Ногти я свои обгрыз, волосы были спутаны, ножниц, гребенки, щетки здесь не было.

Не было и воды для умыванья.

Почти непрерывно я боролся с тошнотой, потому что колбасный отвар был приправлен не солью, а содой... таково предписание тюремной власти для «избежания половой возбудимости».

Время проходило в сером, ужасающем однообразии.

Оно тихо вращалось, как колесо пытки.

Были моменты, всем нам уже знакомые, когда то один, то другой из нас внезапно вскакивал, часами метался по камере, как дикий зверь, затем утомленно падал на свою доску и опять тупо ждал – ждал – ждал.

Вечером по стенам, точно муравьи, рядами ползали клопы, и, недоумеая, я задавал себе вопрос, почему это господин, при сабле и в кальсонах, так старательно выведывал у меня, нет ли на мне паразитов.

Не опасался ли окружной суд смешения чуждых паразитных рас?

По средам, обыкновенно с утра, являлась поросычья голова в мягкой шляпе и с трясущимися ногами: тюремный врач, доктор Розенблат; он удостоверился в том, что все пышут здоровьем.

А когда кто-нибудь на что-либо жаловался, то он прописывал цинковую мазь для натирания груди.

Однажды с ним пришел и председатель суда – высокий, надушенный «великосветский» негодяй, на лице которого были написаны всевозможные пороки, – осмотреть, все ли в порядке: не повесился ли еще кто-нибудь, как выразился господин с прической.

Я подошел было к нему, чтоб изложить просьбу, но он, обернувшись назад, сказал что-то караульному и наставил на меня револьвер. – Чего он хочет?

– закричал он.

Я вежливо спросил, нет ли мне писем. Вместо ответа я получил пинок в грудь от доктора Розенבלата, который вслед за этим немедленно же улетучился. За ним вышел и председатель, язвительно бросив мне через окошечко насмешливый совет признаться скорее в убийстве. А то не получить мне в этой жизни ни одного письма.

Я уже давно привык к спертому воздуху и к духоте и постоянно чувствовал озноб. Даже когда светило солнце.

Вот уже два арестанта сменились другими: меня это мало трогало. На этой неделе приводили карманного воришку или грабителя, на следующей – фальшивомонетчика или укрывателя.

То, что вчера переживалось, сегодня забывалось.

Мое беспокойство за Мириам делало меня равнодушным ко всем внешним событиям.

Только одно происшествие задело меня, преследовало даже во сне.

Я стоял на доске у окна и смотрел на небо. Вдруг я почувствовал, что нечто острое колет меня в бедро. Нащупав, я нашел напильник, который пробуравил карман и лежал за подкладкой. Очевидно, он уже давно торчал там, иначе коридорный наверно заметил бы его.

Я вытащил его и бросил на нары.

Когда я затем слез, его уже не было, и я ни на секунду не усомнился, что только Лойза мог взять его.

Через несколько дней его перевели в другую камеру.

Не полагалось, чтобы два подсудимых, обвиняемых в одном преступлении, сидели в одной и той же камере; так объяснял мне это тюремный сторож.

Я от всего сердца пожелал, чтобы бедному мальчику удалось выйти на свободу при помощи напильника.

XVII. Май

Солнце горело, как в разгаре лета, истомленное дерево пустило несколько побегов. На мой вопрос, какое сегодня число, тюремный сторож сначала промолчал, а затем шепнул, что сегодня пятнадцатое мая – собственно, он не имел права отвечать; с заключенными запрещено разговаривать, особенно с теми, которые еще не признались в своей вине; им не следует сообщать сведений о месяцах и числах.

Итак, вот уже три полных месяца, как я в тюрьме, и все еще не имею никакого известия из внешнего мира.

По вечерам, сквозь решетчатое окно, которое было открыто в теплые дни, проникали тихие звуки рояля.

Это играет дочь привратника, сказал мне один арестант.

Дни и ночи я грезил о Мириам.

Что с ней теперь?

Порою меня утешало сознание, что мои мысли доходят до нее, витают над ее постелью, когда она спит, и ласково обвевают ее.

А потом снова, в минуты отчаяния, когда, кроме меня одного, всех моих соседей по камере, одного за другим, вызывали на допрос, меня охватывал тупой ужас: может быть, она давно уже умерла.

Я вопрошал судьбу: жива еще Мириам или нет, больна она или здорова, и я гадал по количеству соломинок, выдергиваемых мною из мешка.

И почти всегда ответы были неблагоприятные, и я мучился желанием проникнуть в будущее, пытался перехитрить свою душу, хранительницу моей тайны, как бы совершенно посторонними вопросами – наступит ли когда-нибудь день, когда я опять стану веселым и снова буду смеяться.

На такие вопросы оракул всегда давал утвердительный ответ, и я в течение часа бывал счастлив и спокоен.

Как растение, таинственно распускающееся и растущее, так пробуждалась во мне мало-помалу непостижимая, глубокая любовь к Мириам, и я не понимал, как это я мог так часто бывать у нее, разговаривать с ней, не давая себе отчета уже тогда в моих чувствах.

В эти мгновения трепетное желание, чтоб и она с таким же чувством думала обо мне, выросло до полной уверенности, и когда я слышал в коридоре звуки шагов, я почти боялся, что вот придут за мной, выпустят меня, и моя греза развеется в грубой реальности внешнего мира.

Мой слух за время заключения так обострился, что я воспринимал малейший шорох.

Каждый вечер я слышал шум экипажа вдали и ломал себе голову, кто бы мог в нем сидеть.

Было что-то необычайно странное в мысли, что там, где-то, существуют люди, которые имеют возможность делать то, что хотят, которые могут свободно двигаться, ходить куда угодно, и не ощущают при этом неопишуемой радости.

Я не был в состоянии себе представить, что и я когда-нибудь буду иметь счастье ходить по улицам, залитым солнцем.

День, когда я держал в объятиях Ангелину, казался мне принадлежащим иному, давно исчезнувшему, прошлому – я думал думал о нем с той тоской, которая овладевает человеком, раскрывшим книгу и нашедшим в ней увядший цветок возлюбленной его юных дней!

Сидит ли еще старый Цвак каждый вечер в кабачке с Фрисландером и Прокопом, слушая скелетообразную Эвлалию?

Нет, ведь уже май: время, когда он отправляется по деревням со своим театром марионеток и разыгрывает на зеленых лугах «Синюю Бороду»!

Я сидел один в камере – поджигатель Воссатка, мой единственный товарищ последней недели, уже несколько часов был у следователя.

Удивительно долго продолжался на этот раз допрос.

Воссатка влетел в камеру с сияющей физиономией, бросил узелок на нары и стремительно начал одеваться.

Арестантское платье он с негодованием швырнул на пол.

– Ни черта не могли они доказать, дудки!.. Поджоги!.. Как не так... – Он ткнул себя пальцем в нижнее веко. – Черного Воссатку не проведешь. – Дул ветер, – сказал я. И уперся на этом. – Пусть они гонятся теперь за господином ветром!.. А пока – слуга покорный!..

Встретимся еще... У Лойзичек. – Он вытянул руки и пустился в пляс. «Один лишь раз приходит май...» – он надвинул на лоб твердую шляпу с перышком синего цвета. – Да, правда, это вас заинтересует, знаете, господин граф, что случилось? Ваш приятель Лойза сбежал! Сейчас мне сказали. Уже с месяц – теперь поминай, как звали... фьют... – Он хлопнул себя ладонью по затылку. – За горами, за долами...

«Ага, напильник», – подумал я и улыбнулся.

– Теперь и вы надейтесь, господин граф, – Он по-товарищески протянул мне руку, – и вы вскоре будете на свободе... Когда вы будете без гроша, спросите у Лойзичек черного Воссатку... Всякая девка знает меня там. Так-то!.. А пока – честь имею кланяться. Чрезвычайно приятно было!

Он еще стоял на пороге, когда надзиратель вводил в камеру нового арестанта.

Я с первого же взгляда узнал в нем парня в солдатской фуфуражке, который однажды во время дождя стоял со мной рядом в подворотне на Петушьей улице. Чудесный сюрприз! Может быть, он случайно знает что-нибудь о Гиллеле, о Цваке и обо всех других?

Я хотел тотчас же начать расспрашивать его, но, к моему величайшему изумлению, он с таинственным видом приложил палец к губам, сделал знак, чтоб я молчал.

Только когда дверь закрылась снаружи и шаги караульного смолкли в коридоре, он засуетился.

У меня дрожало сердце от волнения.

Что бы это значило?

Неужели он знал меня, и чего он хотел?

Первым делом парень сел и стащил левый сапог.

Затем он зубами вытащил пробку из каблука и из образовавшегося углубления вынул маленькое изогнутое железко, оторвал некрепко пришитую подошву и с самодовольной физиономией дал мне и то, и другое.

Все это он проделал с быстротой молнии, не обращая ни малейшего внимания на мои взволнованные вопросы.

– Вот! Нижайший привет от господина Харусека.

Я был так ошарашен, что не мог произнести ни слова.

– Вот, возьмите железко и ночью вспорите подошву. Или в другой часок, когда никто не заметит. Там внутри пустота, – пояснил он мне, сделав торжественную мину, – и в ней лежит письмо от господина Харусека.

Вне себя от восторга, я бросился ему на шею, и слезы полились у меня из глаз.

Он ласково отстранил меня и сказал с упреком.

– Надо крепче держать себя, господин Пернат! Нам нельзя терять ни минуты. Сейчас может обнаружиться, что я не в моей камере. Мы с Францлем... обменялись номерами.

Вероятно, у меня был очень глупый вид, потому что он продолжал.

– Этого вы не понимаете, все равно. Коротко: я здесь – и баста!

– Скажите же, – перебил я его, – скажите, господин... господин...

– Венцель, – помог он мне, – меня зовут: Прекрасный Венцель.

– Скажите же, Венцель, как поживает архивариус Гиллель со своею дочкой?

– Этим некогда теперь заниматься, – нетерпеливо перебил он меня. – Я могу в одну секунду вылететь отсюда... Итак, я здесь, потому что я признался в грабеже.

– Как, вы из-за меня, чтобы попасть сюда, совершили ограбление, Венцель? – спросил я, потрясенный.

Парень презрительно покачал головой. – Если бы я действительно совершил ограбление, то я бы в нем не признался. За кого вы меня принимаете?!

Я постепенно начал соображать: ловкий парень употребил хитрость, чтоб притащить мне письмо Харусека.

– Итак, внимайте. – Он сделал очень серьезное лицо. – Я вас должен обучить эпилепсии!..

– Чему?

– Эпилепсии! Будьте очень внимательны и замечайте все в точности. Смотрите же, раньше всего наделайте слюны во рту. – Он надул щеки и задвигал челюстями, точно полоща рот. – Тогда образуется пена на губах... – он проделал и это с отвратительной точностью. – Затем надо сжать пальцы в кулак. Затем закатывать глаза... – он ужасно скосил их, – а затем, это трудненько: надо так

закричать. Так вот: бэ... бэ... и тут же упасть. – Он упал с такой силой, всем телом, что задрожал дом, и сказал, вставая:

– Это настоящая эпилепсия. Так нас учил в «батальоне» покойный доктор Гульберт.

– Да, да, это удивительно похоже, но к чему это?

– Вы прежде всего выберетесь из камеры, – пояснил прекрасный Венцель... – Доктор Розенблат – мерзавец. Когда у кого-нибудь уже и головы нет, все-таки этот Розенблат еще утверждает: здоровехонек! – Только к эпилепсии он питает скотское почтение. Кто умеет ее хорошо сделать, тот сразу попадает в больницу... А оттуда удрать – уже детская игра... – Он заговорил таинственным голосом. – Оконные решетки в больничной камере перепилены и только приклеены... Это тайна батальона... Вам надо всего лишь две ночи внимательно следить: как только вы увидите в окне веревку с крыши, потихоньку приподымите решетку, чтобы никто не проснулся, просуньте плечи в дыру, и мы вас вытащим на крышу и спустим с другой стороны на крышу. – Баста!

– Зачем мне бежать из тюрьмы, – робко обратился я к нему, – ведь я не виновен.

– Это не значит, что не надо бежать! – возразил мне прекрасный Венцель, выпучив глаза от удивления.

Я должен был употребить все свое красноречие, чтобы отклонить смелый план, который, как он сказал, является результатом постановления батальона.

Для него было непостижимо, как это я выпускаю из рук Божий дар и хочу ждать, пока свобода придет ко мне сама.

– Во всяком случае, и вам, и вашим товарищам я признателен до глубины души, – взволнованно сказал я и пожал ему руку. – Когда пройдут тяжелые дни, моей первой заботой будет доказать вам это.

– Это не нужно, – дружески возразил Венцель. – Если вы поставите пару пива, мы примем с благодарностью, а больше и не нужно. Пан Харусек теперь казначей батальона, он рассказал нам, сколько добра вы тайно делали людям. Передать ему что-нибудь, когда я увижу его через несколько дней?

– Да, пожалуйста, – быстро начал я, – скажите ему, чтоб он пошел к Гиллелю и передал ему, что я очень беспокоюсь о здоровье его

дочери, Мириам. Пусть господин Гиллель смотрит за ней в оба. Вы запомните имя? Гиллель!

– Гиррель?

– Нет: Гиллель.

– Гиллер?

– Нет: Гилл-ель!

Венцель тщетно упражнял свой язык над этим непроизносимым для чеха словом, но, наконец, с дикой гримасой осилил его.

– И затем еще одно: пусть господин Харусек – я очень прошу его об этом – позаботится о «благородной даме», насколько это в его власти. Он уже знает, что я под этим разумею.

– Вы, верно, имеете в виду благородную даму, которая спуталась с немцем, с доктором Саполи? – Ну, она уже развелась с мужем и уехала вместе с Саполи и ребенком.

– Вы это знаете наверное?

Я чувствовал, что голос у меня задрожал. Как я ни радовался за Ангелину – все же сердце у меня сжималось.

Сколько тревог я пережил из-за нее... а теперь... я забыт.

Может быть, она думала, что я действительно разбойник.

Я почувствовал горечь в горле.

С чуткостью, отличающей странным образом опустившихся людей, как только дело коснется любви, парень угадал, по-видимому, все, что я чувствовал. Он взглянул в сторону и ничего не ответил.

– Вы, может быть, тоже знаете, как поживает дочка Гиллеля, Мириам? Вы знаете ее? – с усилием спросил я.

– Мириам? Мириам? – Венцель задумчиво морщил лоб, – Мириам? Она часто бывает по ночам у Лойзичек?

Я не мог удержаться от улыбки.

– Нет, наверно, нет.

– В таком случае, не знаю, – сухо ответил Венцель.

Некоторое время мы молчали.

«Может быть, что-нибудь имеется про нее в письмеце», – подумал я с надеждою.

– Вы, наверно, слышали, что Вассертрума черт побрал, – вдруг начал Венцель.

Я вскочил в ужасе.

– Ну, да. – Венцель указал на свою шею. – Готово! Ну и скажу я вам, страшно это было. Он несколько дней не показывался; когда они открыли лавочку, я, разумеется, первый влез туда – кому же другому! – И тут он сидел, Вассертрум, в кресле, вся грудь в крови, а глаза как стекло... Вы знаете, я парень крепкий, но у меня все помутилось в глазах, когда я увидел его. Признаюсь вам, что я чуть не упал в обморок. Я говорил себе: Венцель, не волнуйся, это ведь только мертвый еврей... *А в горле у него торчал напильник.* В лавке все было перевернуто. Убийство, натурально.

– Напильник! Напильник! – Я чувствовал, как я холодею от ужаса. – Напильник! Он исполнил свое дело.

– Я знаю, кто это был, – полушепотом продолжал Венцель после паузы. – Никто другой, скажу я вам, как рябой Лойза... Я нашел его перочинный ножик в лавке на полу и быстро прибрал, чтоб полиция не заметила... Он пробрался в лавку подземным ходом... – Он внезапно прервал свою речь, несколько секунд напряженно вслушивался, затем бросился на нары и начал отчаянно храпеть.

Тотчас же заскрипели засовы, вошел надзиратель и недоверчиво посмотрел на меня.

Я сделал безразличное лицо, и Венцеля с трудом удалось разбудить.

Только после многих толчков он, зевая, поднялся и с видом еще не совсем проснувшегося человека, пошатываясь, пошел за надзирателем.

Дрожа от нетерпения, вскрыл я письмо Харусека и стал читать.

«12 мая.

Мой дорогой несчастный друг и благодетель!

Неделю за неделей я все ждал, что вас, наконец, освободят, – все напрасно. Я сделал все возможное, чтоб собрать оправдательный материал, но не нашел ничего.

Я просил следователя ускорить дело, но всегда оказывалось, что он не может этого сделать, что это зависит от прокуратуры, а не от него.

Канцелярская неразбериха!

Только час тому назад я добился кое-чего и жду лучших результатов: я узнал, что Яромир продал Вассертруму золотые часы, которые он нашел в постели Лойзы после его ареста.

Вы знаете, у Лойзичек бывают сыщики; ходит слух, что у вас нашли часы, по-видимому, убитого Цоттмана... Кстати, его труп до сих пор не разыскан. Остальное я сам сообразил: Вассертрум и прочее.

Я немедленно взялся за Яромира, дал ему тысячу флоринов...» – Я опустил руку с письмом, слезы радости выступили у меня на глазах: только Ангелина могла дать Харусеку такую сумму, ни у Цвака, ни у Фрисландера, ни у Прокопа не было таких денег. – Значит, она не забыла меня! – Я стал читать дальше:

«...дал ему тысячу флоринов и обещал ему еще две тысячи, если он немедленно пойдет со мной в полицию и скажет, что он нашел эти часы у брата после его ареста и продал их.

Это может произойти только тогда, когда это письмо уже будет у Венцеля на пути к вам.

Но будьте уверены, что это произойдет. Еще сегодня. Я ручаюсь вам в этом.

Я не сомневаюсь ни минуты, что убийство совершил Лойза, и что часы эти – Цоттмана.

Если же тут что-нибудь и не так, то и тогда Яромир знает, что ему делать. *Во всяком случае, он признает, что эти самые часы найдены у вас.* Итак: ждите и не сомневайтесь. День вашего освобождения, вероятно, уже не далек.

Но наступит ли день, когда мы свидимся?

Не знаю.

Скорее скажу: не думаю, оттого что я быстро иду к концу и должен быть настороже, чтобы последний час не застал меня врасплох.

Но в одном будьте уверены: *мы увидимся.* Если не в этой жизни и не в той, то уже в день, когда времени не будет, когда Господь, как сказано в Библии, изблюет из уст своих всех тех, кто ни горяч, ни холоден...

Не удивляйтесь, что я говорю так. Я никогда не говорил с вами на эти темы, и когда вы однажды упомянули о Каббале, я замял разговор, но... я знаю то, что знаю.

Может быть, вы понимаете, что я говорю, а если нет, то прошу вас, вычеркните из памяти то, что я сказал... Однажды в моем безумии мне показалось, что я вижу знак на вашей груди... Возможно, что я грезил наяву. Допустите это, как факт, если вам не верится, что у меня

были особые откровения, чуть ли ни с самого детства. Они вели меня странным путем... Эти откровения не совпадают с тем, чему нас учит медицина, а может быть, и медицина сама тут, слава Богу, ничего не знает, и будем надеяться, никогда не узнает...

Но я не давал дурачить себя науке: ведь высочайшая цель ее устроить на земле «пассажирский зал», который лучше всего разрушить.

Но довольно об этом.

Я лучше расскажу вам о последних событиях.

В конце апреля Вассертрум сделался доступным моему внушению.

Я это заключал из того, что он начал постоянно жестикулировать на улице и вслух разговаривал с самим собой.

Это верный признак того, что в человеке мысли принимают бурный характер и могут совершенно им овладеть.

Затем он купил записную книжку и начал делать заметки.

Он писал!

Он писал! Я не шучу! *Он писал.* Потом он отправился к нотариусу. Стоя перед домом, я внизу чувствовал, что он делал наверху. Он писал завещание.

Что он назначил меня наследником, мне и в голову не приходило. От радости, если бы это случилось, у меня сделалась бы пляска святого Витта.

Наследником он назначил меня по той причине, что я был единственным на земле человеком, который мог бы искупить его грехи. Совесть перехитрила его.

К тому же он надеялся, что я буду благословлять его после смерти, если благодаря ему стану миллионером, и этим уничтожу проклятие, которое он слышал от меня в вашей комнате.

Внушение мое имело тройное действие.

Чрезвычайно интересно, что он тайно верил в какие-то воздаяния в том мире, хотя при жизни он всячески старался отрицать это.

Но так это бывает со всеми разумниками. Это видно по безумному бешенству, в которое они впадают, когда вы им скажете это в лицо. Они чувствуют себя пойманными.

С тех пор, как Вассертрум вернулся от нотариуса, я не спускал с него больше глаз.

Ночью я караулил за ставнями его лавки, потому что развязка могла произойти каждую минуту.

Мне кажется, я мог бы расслышать даже через стену желанный звук пробки, вынимаемой из склянки с ядом.

Еще только час, и дело моей жизни совершено.

Но тут явился некто незванный и убил его. Напильником.

Пусть Венцель расскажет вам подробности, мне слишком больно все это описывать.

Назовите это предрассудком, но когда я увидел, что кровь пролита – отдельные предметы в лавке были запачканы ею, – мне показалось, что его душа ускользнула от меня.

Что-то говорит мне, какой-то тонкий и надежный инстинкт, – что не одно и то же, умирает ли человек от чужой руки или от своей собственной... если бы Вассертрум покончил самоубийством, только тогда моя миссия была бы выполнена... Теперь же, когда случилось иначе, я чувствую себя отвергнутым орудием, которое оказалось недостойным руки ангела смерти.

Но я не хочу упорствовать. *Моя ненависть такого рода, что будет жить и за гробом*, и у меня есть еще своя собственная кровь, которую я могу пролить, как хочу, чтоб она пошла следом за его кровью в царство теней...

С тех пор, как Вассертрума похоронили, я ежедневно сижу на его могиле и прислушиваюсь к тайному голосу сердца, как мне поступить.

Мне кажется, я уже знаю, что мне делать. Но я хочу еще подождать, пока мой внутренний голос не станет ясен, как чистый источник. Мы, люди, не чисты, и часто требуется долгий пост, пока не станет внятн тихий шепот нашей души.

На прошлой неделе я получил официальное извещение, что Вассертрум назначил меня единственным наследником.

Что я не воспользуюсь ни одним крейцером, в этом вас не придется убеждать, господин Пернат. Я остерегусь предоставить ему там, наверху, какую-нибудь поддержку.

Дома, которые он имел, я продам; вещи, которых он касался, будут сожжены; что касается денег и драгоценностей, после моей смерти одна треть из них достанется вам.

Я уже вижу, как вы вскакиваете, протестуя, но могу вас успокоить. То, что вы получаете, это ваша законная собственность, с процентами, с процентами на проценты. Я уже давно знал, что много лет тому назад Вассертрум разорил вашего отца и всю вашу семью – только теперь я имею возможность подтвердить это документально.

Вторая треть будет распределена между двенадцатью членами «батальона», которые лично знали доктора Гульберта. Я хочу чтобы каждый из них разбогател и получил доступ к «высшему обществу» в Праге.

Последняя треть подлежит равномерному распределению между первыми семью убийцами, которые, за недостатком улики, будут оправданы. Все это я должен проделать в предотвращении общественного соблазна.

Так-то. Вот и все.

А теперь, мой дорогой, добрый друг, прощайте и вспоминайте иногда вашего преданного и благодарного Иннокентия Харусека».

Глубоко потрясенный, я выронил письмо из рук.

Я не мог радоваться предстоящему освобождению.

Харусек! Бедный! Как брат, он заботился о моей судьбе. За то, что я когда-то подарил ему сто флоринов. Если бы еще хоть раз пожать ему руку!

Я чувствовал: да, он прав, этого никогда не будет.

Я представлял себе его стоящим предо мной: его светящиеся глаза, его плечи чахоточного, высокий благородный лоб.

Может быть, все пошло бы по-иному, если бы в свое время чья-либо милосердная рука вмешалась в эту загубленную жизнь.

Я еще раз перечел письмо.

Сколько последовательности было в безумии Харусека. Да и безумен ли он, в самом деле?

Я готов был стыдиться, что эта мысль хотя бы на секунду овладела мной.

Разве не достаточно говорили ему намеки? Он был таким же, как Гиллель, как Мириам, как я сам, – человеком, которым владела его собственная душа. Душа вела его через страшные ущелья и пропасти жизни в белоснежный мир какой-то девственной земли.

Он, который всю свою жизнь мечтал об убийстве, не был ли он чище тех, что ходят с гордо поднятой головой, хвастаясь тем, что

исполняют заученные ими заповеди неведомого мифического пророка?

Он исполнил завет, что диктовал ему неопределенный инстинкт, и не думал о каком бы то ни было воздаянии здесь или там.

То, что он делал, не было ли благочестивым исполнением долга в самом глубоком значении этого слова?

«Трусливая, льстивая, жадная до убийства, больная, загадочно преступная натура», – я явственно слышал, каково должно быть о нем суждение толпы, подступающей к его душе со своими слепыми фонариками, этой нечистоплотной толпы, которая нигде и никогда не поймет, что ядовитый шиповник в тысячу раз прекрасней и благородней полезного порея.

Снова закричали снаружи засовы, и я услышал, как кого-то втолкнули.

Я даже не обернулся, до такой степени я был переполнен впечатлениями от письма.

Там не было ни слова ни об Ангелине, ни о Гиллеле.

Конечно, Харусек писал второпях. Это видно по почерку.

Не получу ли я еще одного письма от него?

Я втайне надеялся на завтрашний день, на общую прогулку заключенных во дворе. Там было легче всего кому-нибудь из «батальона» сунуть мне что-нибудь.

Тихий голос прервал мои размышления.

– Разрешите, милостивый государь, представиться? Мое имя – Ляпондер... Амадеус Ляпондер.

Я обернулся.

Маленький, худощавый, еще совсем молодой человек в изящном костюме, только без шляпы, как все подследственные, почтительно поклонился мне.

Он был гладко выбрит, как актер, и его большие светло-зеленые, блестящие, миндалевидные глаза имели ту особенность, что хотя они смотрели прямо на меня, казалось, будто они ничего не видят. Казалось, дух отсутствовал в них.

Я пробормотал свое имя, в свою очередь поклонился и хотел отвернуться; однако, долго не мог отвести взгляда от этого человека: так странно действовала на меня застывшая улыбка, которую навсегда сложили на его лице поднятые вверх уголки тонких губ.

Он был похож на китайскую статую Будды из розового кварца: своей гладкой прозрачной кожей, женственно тонким носом и нежными ноздрями.

– Амадеус Ляпондер, Амадеус Ляпондер – повторял я про себя.
Что за преступление мог он совершить?

XVIII. Луна

– Были вы уже на допросе? – спросил я, спустя некоторое время.

– Я только что оттуда. Вероятно, я не долго буду беспокоить вас здесь, – любезно ответил Ляпондер.

«Бедняжка», – подумал я, – «Он не знает, что предстоит человеку, находящемуся под следствием».

Я хотел постепенно подготовить его:

– Когда проходят самые тяжелые первые дни, привыкаешь постепенно к терпеливому сидению.

Его лицо сделалось любезным.

Пауза.

– Долго продолжался допрос, господин Ляпондер?

Он рассеянно улыбнулся.

– Нет. Меня только спросили, сознаюсь ли я, и велели подписать протокол.

– Вы подписали, что сознаетесь? – вырвалось у меня.

– Конечно.

Он сказал это так, как будто это само собой разумелось.

Очевидно, ничего серьезного, предположил я, потому что он совершенно спокоен. Вероятно, вызов на дуэль или что-нибудь в этом роде.

– А я уже здесь так давно, что мне это время кажется вечностью, – я невольно вздохнул, и на его лице тотчас же выразилось сострадание, – Желаю вам не испытывать того же, господин Ляпондер. По-видимому, вы скоро будете на свободе.

– Как знать? – спокойно ответил он, но его слова прозвучали как-то загадочно.

– Вы не думаете? – улыбаясь спросил я. Он отрицательно покачал головой.

– Как это понимать? Что же такого ужасного вы совершили? Простите, господин Ляпондер, это не любопытство с моей стороны – только участие заставляет меня задать вам этот вопрос.

Он колебался секунду, потом, не моргнув глазом, произнес:

– Изнасилование и убийство.

Точно меня ударили обухом по голове.

Он, очевидно, заметил это и деликатно отвернулся в сторону. Однако его автоматически улыбающееся лицо ничем не обнаружило, что его задело внезапно изменившееся мое отношение к нему.

Мы не произнесли больше ни слова и молча смотрели перед собою.

Когда, с наступлением темноты, я расположился на своей наре, он немедленно последовал моему примеру: разделся, заботливо повесил свой костюм на гвоздь, лег и, как видно было по его ровному, глубокому дыханию, тотчас же крепко уснул.

Я всю ночь не мог успокоиться.

Сознание, что такое чудовище находится рядом со мной, что я должен дышать одним воздухом с ним, действовало на меня так волнующе и ужасающе, что впечатления дня, письмо Харусека, все недавние переживания отошли куда-то глубоко внутрь.

Я лег так, чтоб все время иметь убийцу перед глазами, потому, что я не вынес бы сознания, что он где-то за моей спиной.

Камера была неярко освещена луной, и я мог видеть, как неподвижно, почти в оцепенении, лежал Ляпондер.

Его черты напоминали собой труп, полуоткрытый рот усиливал это сходство.

В течение нескольких часов он не шевелился.

Только уже далеко за полночь, когда тонкий лунный луч упал на его лицо, по нему пробежало легкое беспокойство, и он беззвучно зашевелил губами, как человек, говорящий во сне. Казалось, он повторял все одно и то же слово – может быть, короткую фразу, как будто: «Оставь меня! Оставь! Оставь!»

Следующие несколько дней я не обращал на него внимания, он тоже не нарушал своего молчания.

Его отношение ко мне оставалось по-прежнему предупредительным. Когда я ходил взад и вперед по камере, он любезно оглядывался и отодвигал ноги, чтобы не мешать моей прогулке.

Я начал упрекать себя за свою суровость, но при всем желании не мог избавиться от отвращения к нему.

Как я ни надеялся, что смогу привыкнуть к его соседству, ничего не выходило.

Даже по ночам я не спал. Мне едва удавалось заснуть на четверть часа.

Каждый вечер повторялась одна и та же сцена: он почтительно ждал, чтоб я улегся, затем снимал костюм, тщательно разглаживал его, вешал на гвоздь и т. д., и т. д.

Однажды ночью, около двух часов, я стоял, одолеваемый сонливостью, у окна, смотрел на полную луну, лучи которой расплывались сияющим маслом на медном лице башенного циферблата. Я думал с грустью о Мириам.

Тут вдруг услышал я ее тихий голос за собой.

Сонливость мгновенно исчезла, – я обернулся и стал прислушиваться.

Прошла минута.

Я уже готов был думать, что мне померещилось, как вдруг это повторилось снова.

Я не мог ясно разобрать слов, но слышал как будто:

«Спроси. Спроси».

Это был безусловно голос Мириам.

Качаясь всем телом от волнения, я тихонько слез и подошел к постели Ляпондера.

Все лицо его было освещено луной, – и я мог ясно различить, что при открытых веках виднелись только белки глаз.

По неподвижности мускулов лица я заключил, что он крепко спит.

Только губы все время шевелились.

И мало-помалу я разобрал слова, исходившие из его уст:

«Спроси. Спроси».

Была полная иллюзия голоса Мириам.

– Мириам? Мириам? – невольно вскрикнул я, но тотчас же понизил голос, чтоб не разбудить спавшего.

Я подождал, пока лицо его не застыло вновь, и шепотом повторил: «Мириам? Мириам?»

Его уста принесли едва слышно, но совершенно отчетливо:

«Да».

Я приложил ухо к его губам.

Через секунду я слышал шепот Мириам – голос ее был столь явственен, что у меня по коже пробежал мороз.

Я так жадно вслушивался в ее слова, что улавливал только их общий смысл. Она говорила о любви ко мне, о несказанном счастье, что мы, наконец, встретились – и никогда больше не расстанемся, быстро, без пауз, как человек, который боится, что его прервут и хочет использовать каждую секунду.

Затем голос стал прерываться – на время совсем замер.

– Мириам? – спросил я, дрожа от тревоги и затаив дыхание. – Мириам, ты умерла?

Долго не было ответа.

Затем прозвучало, едва разборчиво:

«Нет... Живу... Сплю...»

Больше ничего.

Я вслушивался, вслушивался.

Напрасно.

Больше ничего.

От волнения и дрожи я должен был опереться о постель, чтобы не упасть на Ляпондера.

Иллюзия была настолько полной, что минутами я видел перед собою лежащую Мириам, и я должен был собрать все свои силы, чтобы не прижаться поцелуем к губам убийцы.

«Энох! Энох!» – вдруг услышал я его лепет, потом все ясней и отчетливей: «Энох! Энох!»

Я тотчас узнал голос Гиллеля.

«Это ты, Гиллель?»

Нет ответа.

Мне вспомнилось, я когда-то читал, что спящего можно побудить к разговору вопросами не в ухо, а к нервному разветвлению брюшной полости.

Я так и сделал:

– Гиллель?

– Да, я слышу тебя.

– Мириам здорова? Ты знаешь все? – торопился я спрашивать.

– Да. Я знаю все. Знал давно. Не тревожься, Энох, будь спокоен.

– Ты можешь простить меня, Гиллель?

– Я сказал ведь тебе: будь спокоен.

– Мы скоро увидимся? – я дрожал от мысли, что не пойму ответа.

Уже последнюю фразу едва можно было разобрать.

– Надеюсь. Подожду... тебя... если смогу... я должен... в страну...

– Куда? В какую страну? – я почти налег на Ляпондера. – В какую страну? В какую страну?

– В страну... Гад... к юг... Палестины.

Голос замер.

Сотни вопросов беспорядочно толпились у меня в голове: почему он называет меня Энох?.. Цвак, Яромир, часы, Фрисландер, Ангелина – *Харусек*.

– Прощайте и вспоминайте иногда, – вдруг снова громко и отчетливо признали уста убийцы, на этот раз голосом Харусека, но так, как будто я сам сказал это.

Я вспомнил: это была дословно заключительная фраза из письма Харусека.

Лицо Ляпондера лежало уже в темноте. Лунный свет падал на кончик соломенного мешка. Через четверть часа он совсем покинет камеру.

Я задавал один вопрос за другим, но ответа уже не получал.

Убийца лежал неподвижно, как труп, его веки были закрыты.

Я жестоко упрекал себя в том, что все время видел в Ляпондере только убийцу и не замечал человека.

Теперь было ясно, что он лунатик – существо, которое находится под действием лунного света.

Возможно, что и убийство он совершил в каком-нибудь сумеречном состоянии сознания. Даже наверное...

Теперь, когда стало рассветать, оцепенение сошло с его лица и уступило место выражению блаженного спокойствия.

«Так спокойно спать не может человек, на совести которого убийство», – подумал я.

Я не мог дождаться его пробуждения.

Знал ли он хотя бы о том, что произошло?

Наконец, он открыл глаза, встретил мой взгляд и отвел свой.

Я подошел к нему, схватил за руку.

– Простите меня, господин Ляпондер, что я был так нелюбезен с вами все время. Было так необычно, что...

– Не сомневайтесь: я отлично понимаю, – живо перебил он меня, – что должно быть омерзительно находиться рядом с убийцей.

– Не говорите больше об этом, – просил я. – Я сегодня ночью столько пережил, что не могу отделаться от мысли, что вы, может быть... – я искал подходящего слова.

– Вы считаете меня больным? – вырвалось у него.

Я подтвердил.

– Мне кажется, я должен сделать такой вывод из некоторых данных. Я... я... можно вам прямо поставить вопрос, господин Ляпондер?

– Пожалуйста.

– Это звучит несколько странно, но... вы можете мне сказать, что вам снилось сегодня?

Он с улыбкой покачал головой.

– Мне никогда ничего не снится.

– Но вы говорили во сне.

Он удивленно взглянул на меня. Подумал минуту. Потом твердо сказал:

– Это могло быть только, если вы меня о чем-нибудь спрашивали. – Я подтвердил. – Потому что, как я сказал, мне ничего не снится.

– Я... я... странствую, – прибавил он, спустя несколько секунд, понизив голос.

– Странствуете? Как это понять?

Он, по-видимому, не хотел говорить об этом, и я должен был объяснить ему причину, побуждающую меня настаивать, и рассказал ему в общих чертах о том, что произошло ночью.

– Вы можете быть совершенно уверены, – сказал он, когда я закончил, – что все, сказанное мной, соответствует действительности. Если я раньше сказал, что мне ничего не снится, что я странствую, то я подразумевал под этим, что мои сновидения иного рода, чем у *нормальных* людей. Назовите это, если хотите, выхождением из тела. Так, например, я сегодня ночью был *в одной необычайно странной комнате, вход в которую вел через подъемную дверь*.

– Какова она была? – быстро спросил я. – Она была заброшена? Пуста?

– Нет, там было немного мебели. И постель, где спала молодая девушка как бы в летаргическом сне – возле нее сидел мужчина, положив ладонь ей на лоб.

Ляпондер описал мне обоих. Несомненно, это были Мириам и Гиллель.

Я едва дышал от напряжения.

– Ради Бога, рассказывайте дальше. Был еще кто-нибудь в комнате?

– Еще кто-нибудь? Подождите... нет: больше никого в комнате не было. На столе горел семисвечный канделябр. Потом я сошел по винтовой лестнице вниз.

– Она была разрушена? – перебил я.

– Разрушена? Нет, нет, она была в полной исправности. К ней со стороны примыкала комната, и там сидел мужчина в ботинках с серебряными пряжками. Людей такого типа я никогда не видал: желтый цвет лица, косые глаза. Он сидел, нагнувшись вперед, и, казалось, выжидал чего-то. Вероятно, поручения.

– Книги, старинной большой книги вы нигде не видели? – допытывался я.

Он потер себе лоб.

– Книги, говорите вы? Да. Правильно: на полу лежала книга. Она была раскрыта, вся из пергамента, и страница начиналась большим золотым А.

– I – хотите вы сказать?

– Нет, А.

– Вы это твердо помните? Не было ли это I?

– Нет, определенно А.

Я покачал головой и впал в сомнение. Очевидно, Ляпондер в полусне читал в моем воображении и все перепутал: Гиллель, Мириам, Голем, книга «Ibbur», подземные ходы.

– Давно уже у вас эта способность «странствовать», как вы говорите? – спросил я.

– С двадцать первого года... – Он запнулся, казалось, не хотел говорить об этом. Вдруг на лице его появилось выражение безграничного изумления, он смотрел мне на грудь, как будто что-то видел на ней.

Не замечая моего недоумения, он быстро схватил мою руку и стал просить, почти умолять.

– Ради Бога, расскажите мне *все*. Сегодня последний день, что я провожу с вами. Может быть, через час уже меня уведут, чтоб объявить смертный приговор...

В ужасе я перебил его.

– Вы должны выставить меня свидетелем! Я буду клясться, что вы больны... Вы лунатик. Не может быть, чтоб вас казнили, не освидетельствовав вашего психического состояния. Будьте благоразумны.

Он нервно отмахнулся.

– Это ведь так неважно... прошу вас, расскажите мне все.

– Но что вам рассказать? Лучше потолкуем о вас и...

– Вы переживаете, теперь я это знаю, некоторые странные вещи, которые очень близки мне – ближе, чем вы предполагаете... прошу вас, расскажите мне все! – умолял он меня.

Я не мог постичь, как это моя жизнь интересует его больше, чем собственная, но, чтобы успокоить его, стал ему рассказывать обо всем необъяснимом, что случилось со мной.

Каждый раз он кивал головой с довольным видом, как человек, который все насквозь понимает.

Когда я дошел до рассказа о том, как мне явилось видение без головы и предложило темно-красные зерна, он едва мог дожидаться окончания.

– Так что вы выбили их у него из рук, – задумчиво пробормотал он. – Я никогда не думал, что существует *третий* путь.

– Это не третий путь, – сказал я, – это все равно, как если бы я отказался от зерен.

Он улыбнулся.

– А вы думаете иначе, господин Ляпондер?

– Если бы вы отказались от них, вы бы тоже пошли по «дороге жизни», но зерна, в которых заключена магическая сила, не остались бы позади. Но они рассыпались по полу, как вы говорите. Это значит: они остались здесь, и будут оберегаться вашими предками, пока не наступит время прорастания. Тогда в вас оживут силы, которые теперь дремлют.

Я не понял: «Мои предки будут оберегать их?»

– Вы должны понимать до некоторой степени символически то, что вы пережили, – объяснил Ляпондер. – Круг светящихся голубым цветом людей, который окружал вас, это цепь унаследованных «я», которую таскает за собой каждый рожденный матерью. Душа не есть нечто «отдельное», она этим только еще должна стать – и это тогда называется «бессмертием». Ваша душа еще составлена из многочисленных «я» – как муравейник из многих муравьев; вы носите в себе психические остатки многих тысяч предков: глав вашего рода. То же происходит с каждым существом. Как мог бы иначе цыпленок, искусственно выведенный из яйца, искать свойственную ему пищу, как могло бы это случиться, если бы не дремал в нем опыт миллионов лет? Существование «инстинктов» обнаруживает присутствие предков в душе и в теле. Но, простите, я вовсе не хотел перебить вас.

Я досказал все до конца. Все. Даже то, что Мириам говорила о Гермафродите.

Когда я остановился и взглянул на Ляпондера, он был блее извести на стене, и по щекам его струились слезы.

Я быстро встал и, как бы не замечая этого, зашагал по камере в ожидании, что он успокоится.

Потом я сел против него и употребил все красноречие на то, чтоб его убедить в неотложной необходимости обратить внимание суда на его болезненное состояние духа.

– Если бы вы хоть не признались в убийстве, – закончил я.

– Но я должен был. Они обращались к моей совести, – наивно сказал он.

– Вы думаете, что ложь хуже, чем... чем убийство? – с удивлением спросил я его.

– Вообще, может быть и нет, но в данном случае – безусловно. Видите ли, когда следователь задал мне вопрос, сознаюсь я или нет, я смог сказать правду. Значит, у меня был выбор: лгать или не лгать. – Когда я совершил убийство... увольте меня от подробностей: это было так ужасно, что я не хочу вспоминать... – Когда я совершил убийство, у меня *не было* никакого выбора. Если бы я даже действовал при совершенно ясном сознании, то *и тогда я не имел бы никакого выбора*: что-то такое, присутствие чего я никогда не подозревал в себе, пробудилось и было сильнее, чем я. Вы думаете, что если бы у меня был выбор, я совершил бы убийство? Я никогда в жизни не убивал ни

малейшей твари, а теперь я уже и совсем был бы не в состоянии. Допустите, что существовал бы закон: убивать; и за неисполнение его карали бы смертью – как на войне, к примеру – я бы немедленно был приговорен к смертной казни. У меня не было бы выбора. А тогда, когда я совершал убийство, все вывернулось наизнанку.

– Тем более, что вы чувствуете себя как бы иным человеком, вы должны все сделать для того, чтобы вас не осудили! – настаивал я.

Ляпондер махнул рукой.

– Вы ошибаетесь. Судьи, со своей стороны, совершенно правы. Могут ли они позволить такому человеку, как я, разгуливать на свободе? Чтобы завтра или послезавтра снова случилось несчастье?

– Нет, вас должны посадить в лечебницу для душевнобольных. Вот что я думаю! – вскричал я.

– Если бы я был сумасшедшим, вы были бы правы, – хладнокровно возразил Ляпондер. – Но я не сумасшедший. У меня нечто совсем иное, может быть, очень похожее на сумасшествие, но, тем не менее, ему противоположное. Вы послушайте только. Вы сейчас поймете меня... То, что вы мне только что рассказывали о призраке без головы – это символ, разумеется: если вы подумаете, вы легко найдете ключ к нему – со мной однажды это случилось точь-в-точь. Но я в з я л зерна. Так что я иду «дорогой смерти». Для меня самое святое, это сознание, что каждым моим шагом руководит духовное начало во мне. Я за ним слепо, доверчиво пойду, куда бы ни повела меня дорога: к виселице или к трону, к нищете или к богатству. Я никогда не колебался, когда выбор был в моих руках.

Потому-то я и не солгал, раз выбор был в моих руках.

Вы знаете слова пророка Михея:

«Сказано тебе, человек, что есть добро и чего требует от тебя Господь?»

Если бы я солгал, я бы *создал причину* в мире, ибо у меня был выбор, – когда же я совершал убийство, я не создавал никакой причины, просто *освободилось следствие* давно дремавших во мне причин, над которыми у меня не было никакой власти.

Итак, руки мои чисты.

Я рождаюсь для свободы тем фактом, что духовное начало, склонив меня к убийству, казнило меня. Люди, посылая меня на виселицу, отделили мою участь от их судеб.

Я чувствовал, что это святой, и волосы у меня стали дыбом от ужаса перед собственным ничтожеством.

– Вы рассказали мне, что под действием гипнотического внушения врача вы на долгое время потеряли воспоминание о юности, – продолжал он, – это признак – стигмат – всех тех, кто укушен «змеем духовного царства». – В нас гнездятся как бы две жизни, одна над другой, как черенок на диком дереве, пока не произойдет чудо пробуждения, – то, что обычно отделяется смертью, происходит путем угасания памяти... иногда путем внезапного внутреннего переворота.

Со мною случилось так, что однажды, на 21-м году, по-видимому, без всякой внешней причины, я проснулся как бы переродившимся. То, что мне до тех пор было дорого, представилось мне вдруг безразличным: жизнь показалась мне глупой сказкой об индейцах и перестала быть действительностью; сны стали достоверностью – аподиктической, безусловной достоверностью, понимаете: безусловную, реальной достоверностью, а повседневная жизнь стала сном.

Со всеми людьми могло бы то же самое случиться, если бы у них был ключ. А ключ заключается единственно в том, чтобы человек во сне осознал «форму своего я», так сказать, свою *кожу* – нашел узкие скважины, сквозь которые проникает сознание между явью и глубоким сном.

Поэтому-то я и сказал раньше: «я странствую», а не «мне снится».

Стремление к бессмертию есть борьба за скипетр с живущими внутри нас шумами и призраками, а ожидание воцарения собственного «я» есть *ожидание Мессии*. Призрачный «Nabal garmin», которого вы видели, «дыхание костей» по Каббале, и был царь... Когда он будет коронован... порвется надвое веревка, которую вы привязали к миру рассудком и органами внешних чувств...

Как же могло случиться, чтобы я, несмотря на мою оторванность от жизни, стал в одну ночь убийцей, спросите вы? Человек – это стеклянная трубка, сквозь которую катятся разноцветные шарики: почти у всех один шарик, за всю жизнь. Если шарик красный, значит, человек «плохой». Желтый – человек «хороший». Бегут два, один за другим – красный и желтый, тогда у человека «нетвердый характер». Мы, «укушенные змеем», переживаем в течение одной жизни все, что

происходит с целой расой за целый век: разноцветные шарики бегут через трубочку, и когда они на исходе, – тогда мы становимся пророками – становимся зеркалом Господним. Ляпондер замолчал.

Долго не мог я произнести ни слова. Его речь меня ошеломила.

– Почему вы так тревожно спрашивали меня раньше о моих переживаниях, когда вы стоите настолько выше меня? – начал я снова.

– Вы ошибаетесь, – сказал Ляпондер, – я стою гораздо *ниже* вас. – Я расспрашивал вас потому, что почувствовал, что вы обладаете ключом, которого мне недостает.

– Я? Ключом? О Боже!

– Да, да, вы. И вы дали его мне. – Я думаю, что сегодня я самый счастливый человек в мире.

Снаружи послышался шум, засовы отодвигались... Ляпондер не обращал на это внимания.

– Гермафродит – это ключ. Теперь я уверен в этом. Уже потому я рад, что иду за мной, что я вот уже сейчас у цели.

Слезы мешали мне видеть лицо Ляпондера, я *слышал* улыбку в его голосе.

– А теперь: прощайте, господин Пернат, и знайте: то, что завтра будет повешено, это только моя одежда. Вы открыли мне прекраснейшее... последнее, чего я не знал. Теперь я иду точно на свадьбу... – Он встал и пошел за надзирателем... – Это тесно связано с убийством, – были его последние слова, которые я расслышал и только смутно понял.

С той ночи всякий раз, как в небе стояла полная луна, мне все мерещилось спящее лицо Ляпондера на сером холсте постели.

В ближайшие дни после того, как его увели, я слышал со двора, где совершались казни, стук молотков и топоров, длившийся иногда до рассвета.

Я понимал, что это значит, и в отчаянии целыми часами сидел, заткнув уши.

Проходил месяц за месяцем. По умиравшей листве унылой зелени во дворе я видел, как таяло лето, чувствовал это по запаху сырости, проникавшему сквозь стены.

Когда во время общей прогулки мой взор падал на умирающее дерево и вросшую в его кору стеклянную икону, мне всегда невольно

казалось, что именно так врезалось лицо Ляпондера в мою память. Все носил я в себе это лицо Будды с гладкой кожей, со странной, постоянной улыбкой.

Только один единственный раз в сентябре меня вызвал следователь и недоверчиво спросил, чем могу я объяснить мои слова, сказанные у окошечка банка о том, что я должен спешно уехать, а также почему в часы, предшествовавшие аресту, я проявлял такое беспокойство и спрятал все свои драгоценности.

На мой ответ, что я намеревался покончить с собой, снова из-за пульта послышалось ироническое хихиканье.

До этих пор я был один в камере и мог спокойно предаваться своим мыслям, своей скорби о Харусеке, который, как я чувствовал, давно умер, о Ляпондере, своей тоске по Мириам.

Потом явились новые арестанты: вороватые приказчики с помятыми лицами, толстопузые кассиры – «сиротки», как называл их черный Воссатка – отравляли воздух и мое настроение.

Однажды один из них с возмущением рассказывал, что недавно в городе произошло ужаснейшее убийство. К счастью, злодей был тотчас же пойман, и расправа с ним была коротка.

– Ляпондер звали его, этого негодяя, этого мерзавца, – вскрикнул какой-то хлыщ с разбойничьей мордой, приговоренный за истязание детей к... 14 дням ареста. – Его поймали на месте преступления. В суматохе упала лампа, и комната сгорела. Труп девушки так обгорел, что до сих пор не знают, кто она такая. Черные волосы, узкое лицо – вот все, что известно. А Ляпондер ни за что не хотел именно ее назвать. Если бы от меня зависело, я бы содрал с него кожу и посыпал бы перцем. Славные ребята! Все они разбойники, все... Будто уж нет другого средства избавиться от девки, – с циничной улыбкой прибавил он.

Во мне кипело негодование, и я едва не ударил этого мерзавца об землю.

Каждую ночь он храпел на постели, на месте Ляпондера. Я облегченно вздохнул, когда его, наконец, выпустили.

Но и тут еще я не освободился от него: его слова вонзились в меня, как стрела с зазубриной.

Почти постоянно, особенно в темноте, меня терзало жуткое подозрение, – не Мириам ли была жертвой Ляпондера. Чем больше я

боролся с ним, тем глубже укоренялось оно в мои мысли, пока не стало навязчивой идеей.

Иногда, особенно когда ясная луна смотрела сквозь решетку, мне становилось легче: я мог восстанавливать часы, пережитые с Ляпондером, и глубокое чувство к нему разгоняло муки, – но слишком часто вновь возвращались ужасные минуты, я видел перед собой Мириам, убитую и обуглившуюся, и мне казалось, что я теряю рассудок.

Слабые опорные пункты моего подозрения сгущались в такие минуты в нечто цельное, в картину, полную неопишимо ужасающих подробностей.

В начале ноября около десяти часов вечера было уже совершенно темно. Мое отчаяние дошло до такой степени, что я должен был, как голодный зверь, зарыться в свой соломенный мешок, иначе я стал бы громко кричать; вдруг надзиратель открыл камеру и предложил мне идти за ним к следователю. Я едва передвигал ноги от слабости.

Надежда когда бы то ни было покинуть этот ужасный дом давно умерла во мне.

Я заранее представлял себе холодный вопрос, который зададут мне, – стереотипное хихиканье за письменным столом, потом возвращение в свою темную камеру...

Барон Лейзетретер ушел уже домой, и в комнате был только старый сгорбленный секретарь с паучьими пальцами.

Я тупо ждал, что будет.

Мне бросилось в глаза, что надзиратель вошел вместе со мной и добродушно подмигнул мне, но я был слишком подавлен, чтобы придать всему этому какое-нибудь значение.

– Следствие установило, – начал секретарь, хихикнул, влез стул и порылся некоторое время в бумагах, – следствие установило, что вышеупомянутый Карл Цоттман перед своей кончиной был завлечен предательски в подземный заброшенный погреб дома за № 21873 – III по Петушьей улице, под предлогом тайного свидания с незамужней бывшей проституткой Розиной Метцелес, по прозвищу Рыжая Розина; эта Розина была выкуплена глухонемым, состоящим под надзором полиции, резчиком силуэтов, Яромиром Квасничкой, из трактира «Каутский», ныне же уже несколько месяцев живет как любовница в конкубинате с князем Ферри Атенштедтом. В означенном

погребу Карл Цоттман был заперт и обречен на смерть от холода или от голода... Вышеупомянутый Цоттман... – объявил писец, взглянув поверх очков, и стал рыться в бумагах.

– Далее, следствием установлено, что у вышеупомянутого Цоттмана, по всем данным уже после наступившей смерти, были похищены все находившиеся при нем вещи, в частности, прилагаемые при сем карманные часы, обозначенные в деле знаками: римское Р, тире В, и с двумя крышками... – Секретарь поднял часы за цепочку. – Не представилось возможным, из-за отсутствия к нему доверия, придать какое-либо значение показаниям, данным под присягой резчиком силуэтов, Яромиром Квасничкой, сыном умершего семнадцать лет тому назад просвирника того же имени, о том, что эти часы были найдены в постели его скрывшегося брата Лойзы и проданы старьевщику, ныне покойному, владельцу недвижимого имущества Аарону Вассертруму.

Далее следствие установило, что при трупе вышеупомянутого Карла Цоттмана в заднем кармане брюк, во время его обнаружения, находилась записная книжка, в коей он, по-видимому, за несколько дней до последовавшей кончины сделал ряд заметок, освещающих обстоятельства злодейства и облегчающих коронному суду нахождение виновника оною.

Исходя из посмертных заметок Цоттмана, прокуратура коронного суда переносит подозрение в совершении преступления на находящегося ныне в бегах Лойзу Квасничку и одновременно постановляет Атанасиуса Перната, резчика камней, из предварительного заключения освободить и следствие о нем прекратить.

Прага, июль.

Подпись:

Д-р Барон фон-Лейзетретер.

Я потерял землю под ногами и на минуту лишился сознания.

Когда я очнулся, я сидел на стуле, и надзиратель дружески похлопывал меня по плечу.

Секретарь сохранил полное спокойствие, понюхал табаку, высморкался и сказал мне:

– Объявление постановления задержалось до сегодня, потому что ваша фамилия начинается на «П» и, следовательно, находится почти в конце алфавитного списка. – Затем он продолжал читать:

«Сверх того, поставить в известность Атанасиуса Перната, резчика камней, о том, что, согласно завещанию в мае месяце скончавшегося студента-медика Иннокентия Харусека, к нему переходит третья часть всего имущества последнего, и потребовать от него расписки в получении настоящего протокола».

Секретарь обмакнул перо и начал что-то писать.

По привычке я ожидал, что он начнет хихикать, но он этого не сделал.

– Иннокентий Харусек, – бессознательно пробормотал я.

Надзиратель склонился ко мне и стал шептать мне на ухо:

– Господин доктор Харусек незадолго до смерти был у меня и справлялся о вас. Он просил вам очень-очень кланяться. Я, разумеется, не мог тогда сказать вам этого. Строго воспрещается. Страшной смертью умер он, господин доктор Харусек. Он сам лишил себя жизни. Его нашли на могиле Аарона Вассертрума мертвым, грудью к земле. *Он выкопал в земле две глубокие ямы, перерезал себе артерии и всунул руки в эти ямы. Так и истек он кровью.* Он, очевидно, помешался, этот господин доктор Хар...

Секретарь с шумом отодвинул свой стул и протянул мне перо для подписи.

Затем он важно выпрямился и произнес, подражая тону своего шефа:

– Надзиратель, отведите этого господина.

Точь-в-точь как когда-то, человек с саблей и в кальсонах в комнате у ворот снял кофейную мельницу со своих колен, но только на этот раз он меня уже не обыскивал, а отдал мне мои драгоценные камни, кошелек с десятью гульденами, мое пальто и все прочее.

Я был на улице.

Мириам! Мириам! Вот когда я, наконец, увижу ее... – я подавил крик дикого восторга.

Было около полуночи. Полная луна сквозь пелену тумана тускло светила поблекшей медной тарелкой.

Мостовая была покрыта слоем вязкой грязи.

Я окликнул экипаж, который в тумане казался скорчившимся допотопным чудовищем. Ноги отказывались служить, я отвык от ходьбы и шатался... Мои подошвы потеряли чувствительность, как у больного спинным мозгом.

– Извозчик, как можно скорее на Петушью улицу, № 7! Поняли? Петушья, 7.

XIX. На свободе

Проехав несколько сажен, экипаж остановился.

– Петушья, сударь?

– Да, да, живо.

Еще немного проехали. Снова остановка.

– Ради Бога, в чем дело?

– Петушья, сударь?

– Да, да. Говорю ведь.

– На Петушью не проехать.

– Почему?

– Да она вся взрыта. В еврейском городе проводят трубы.

– Поезжайте, пока можете, но только, пожалуйста, поскорее.

Экипаж подпрыгнул и затем спокойно покатился дальше.

Я опустил дребезжащие окна кареты и жадными легкими вздохнул ночной воздух.

Все стало мне совершенно чужим, так непонятно новым: дома, улицы, закрытые лавки.

Белая собака, одинокая и унылая, пробежала по мокрому тротуару. Я смотрел ей вслед. Как странно!! Собака! Я совершенно забыл, что существуют такие звери – я от радости по-детски крикнул ей вслед: – Эй, ты там! Разве можно быть такой хмурой?..

Что бы сказал Гиллель!? А Мириам?

Еще несколько минут, и я у них. Я не перестану молотить в дверь до тех пор, пока не подыму их с постели.

Теперь все будет хорошо – все несчастья этого года миновали!

Ну и Рождество же будет!

Только не проспять бы его, как в последний раз.

На мгновение прежний ужас охватил меня: слова арестанта с лицом хищного зверя вспомнились мне. Обожженный труп, изнасилование и убийство... но нет, нет! – Я старался отгонять эти мысли: нет, нет, не может, не может этого быть. Мириам жива!.. Я ведь слышал ее голос из уст Ляпондера. Еще одна минута... полминуты... и вот...

Экипаж остановился у какой-то груды обломков. На мостовой повсюду кучи камней.

На них горели красные фонари.
При свете факелов толпа рабочих рыла землю.
Мусор и обломки стен заграждали путь. Я карабкался, ноги увязали по колено.

Вот здесь, здесь ведь Петушья улица?!
Я с трудом ориентировался. Кругом – только развалины.
Разве не тут стоял дом, в котором я жил?
Передняя часть его была сорвана.

Я взобрался на холм земли, – глубоко передо мной бежал вдоль прежней улицы черный кирпичный ход... Взглянул вверх: как гигантские ячейки в улье, висели в воздухе обнажившиеся комнаты, одна возле другой, озаренные факелами и унылым светом луны.

Вот там наверху, это моя комната – я узнал ее по узорам на стене.
Только одна полоска оставалась от нее.

К ней примыкало ателье... Савиоли. Вдруг я почувствовал в сердце совершенную пустоту. Как странно! Ателье!.. Ангелина!.. Так далеко, так неизмеримо далеко позади осталось все это!

Я обернулся: от дома, в котором жил Вассертрум, не осталось камня на камне. Все было сравнено с землей: лавка старьевщика, погреб Харусека... все, все.

«Человек проходит, как тень», пришла мне в голову читанная когда-то фраза.

Я спросил одного рабочего, не знает ли он, где живут теперь люди, выселенные отсюда, и не знает ли он случайно архивариуса Шемайю Гиллеля?

– Не знаю по-немецки, – ответил он.

Я дал ему гульден: он стал понимать по-немецки, но не мог дать мне никаких сведений.

И никто из его товарищей.

Может быть, у Лойзичек я узнаю что-нибудь?

– Лойзичек закрыт, – говорили они, – дом перестраивается.

– Разбудить кого-нибудь из соседей? Или неудобно?

– Да здесь ни одна собака не живет, – ответил рабочий. – Здесь запрещено. Из-за тифа.

– А «Бедняк»? Этот, наверно, открыт?

– И «Бедняк» закрыт.

– Правда?

– Правда.

Я наудачу назвал несколько имен торговцев и продавщиц табаку, живших поблизости, потом Цвака, Фрисландера, Прокопа...

Рабочий отрицательно качал головой.

– Может быть, знаете Яромира Квасничка?

Рабочий задумался:

– Яромира? Глухонемой?

Я был счастлив. Слава Богу! Хоть один знакомый!

– Да, глухонемой. Где он живет?

– Он картинки вырезывает? Из черной бумаги?

– Да. Это он. Где я могу найти его?

Рабочий описал мне со всеми подробностями, как найти ночное кафе во внутренней части города, и взялся снова за работу.

Больше часу блуждал я по грязи, балансировал на шатающихся досках, пролезая под бревнами, преграждавшими проход по улице. Весь еврейский квартал представлял собой одну сплошную каменистую пустыню, точно землетрясение разрушило город.

Не дыша от возбуждения, весь в грязи, в разорванных ботинках, выбрался я, наконец, из этого лабиринта.

Еще несколько домов, и я был возле притона, который искал.

– «Кафе „Хаос“» – гласила надпись.

В пустой маленькой зале едва хватило места для нескольких столиков, прислоненных к стене.

В середине комнаты на трехножном бильярде, похрапывая, спал кельнер.

Базарная торговка с корзиной овощей сидела в углу, склонившись над стаканом вина.

Наконец, кельнер соблаговолил встать и спросить, что мне угодно. По наглому взгляду, которым он окинул меня с ног до головы, я понял, на какого оборванца я был похож.

Я бросил взгляд в зеркало и ужаснулся: чужое, бескровное лицо, морщинистое, сероватого цвета, с включенной бородой и длинными непричесанными волосами смотрело оттуда на меня.

Я спросил, не было ли здесь резчика силуэтов Яромира, и заказал себе черного кофе.

– Не знаю, почему его еще нет, – зевая, ответил кельнер.

Затем кельнер снова лег на бильярд и опять уснул.

Я взял со стены номер «Prager Tagblatt» и стал ждать.

Буквы ползли, точно муравьи, по страницам, и я не понимал ни слова из того, что читал.

Прошло несколько часов, и за окнами показалась подозрительная глубокая синева, обычное явление в часы рассвета в помещениях, освещенных газом.

Время от времени показывались городские с зеленоватыми и блестящими перьями на шляпах и медленными тяжелыми шагами шли дальше.

Зашли три солдата, не спавшие, по-видимому, всю ночь.

Уличный метельщик забежал за рюмкой водки.

Наконец, наконец: Яромир.

Он так изменился, что я сперва не узнал его: глаза потухли, передние зубы выпали, волосы поредели, а за ушами появились глубокие впадины.

Я был так счастлив снова увидеть после такого долгого времени знакомое лицо, что вскочил, подошел к нему и схватил его за руку.

Он вел себя необычайно робко и постоянно озирался на дверь. Всеми возможными жестами я пытался дать ему понять, что я очень рад встрече с ним. Он, по-видимому, долго не верил мне.

Но какие я ни задавал ему вопросы, он на все отвечал одним и тем же беспомощным жестом непонимания.

Как же объяснить с ним?

Вот! Прекрасная мысль!

Я попросил карандаш и нарисовал одного за другим: Цвака, Прокопа, Фриславдера.

– Что? Никого нет в Праге?

Он оживленно стал размахивать руками, зашагал пальцами по столу, ударил себя по ладони. Я догадался. Все трое, очевидно, получили деньги от Харусека и, составив торговую кампанию, отправились бродить по свету с расширившимся кукольным театром.

– А Гиллель? Где он живет теперь? – Я нарисовал его, рядом с ним дом и вопросительный знак.

Вопросительного знака Яромир не понял, – он не умел читать, – но он догадался, что мне нужно – взял спичку, подбросил ее как будто бы вверх, но ловко, как фокусник, заставил ее исчезнуть.

Что бы это значило? Гиллель тоже уехал?

Я нарисовал еврейскую ратушу.

Глухонемой начал решительно качать головой.

– Гиллеля там уже нет?

– Нет. (Он покачал головой).

– Где же он?

Снова фокус со спичкой.

– Он говорит, что он уехал, и никто не знает, куда, – наставительно заметил вмешавшийся в разговор метельщик улиц, который с интересом следил за нами.

У меня сжалось сердце от ужаса. Гиллеля нет! Теперь я один во всем мире... Все предметы кругом закачались в моих глазах.

– А Мириам?

Руки у меня так сильно дрожали, что я долго не мог нарисовать ее.

– И Мириам исчезла?

– Да. Тоже исчезла. Бесследно.

Я испустил громкий стон и забегал взад и вперед по комнате, так что солдаты вопросительно переглянулись между собою.

Яромир хотел меня успокоить и пытался поделиться со мной еще сведениями, которые были у него: он положил голову на руку, как спящий.

Я ухватился за стол. – Ради Господа Иисуса, Мириам умерла?

Он покачал головой. Яромир снова изобразил спящего.

– Она была больна? – Я нарисовал аптечную склянку.

Снова отрицательный ответ. Снова Яромир положил лоб на руку...

Стало светать. Потухал один рожок за другим, а я все еще не мог выяснить, что означал этот жест.

Я отказался от дальнейших попыток. Стал раздумывать.

Единственное, что оставалось мне, это, как только наступит утро, идти в еврейскую ратушу навести там справки, куда уехали Гиллель и Мириам.

Я должен был ехать за ними ...

Я молча сидел возле Яромира. Глухой и немой, как он.

Взглянув на него через некоторое время, я увидел, что он вырезывает ножницами силуэт.

Я узнал профиль Розины. Он протянул мне силуэт через стол, закрыл рукой глаза... и тихо заплакал...

Затем он вдруг вскочил и, не прощаясь, неуверенно зашагал к двери.

Архивариус Шемайя Гиллель однажды без особой причины отлучился и больше не возвращался. Свою дочь, очевидно, он взял с собой, потому что и ее с тех пор никто не встречал, – вот что мне сообщили в еврейской ратуше. Это все, что мне удалось узнать.

Ни следа не оставили они по себе.

В банке мне заявили, что на мои деньги наложен судебный арест, но с каждым днем ожидается разрешение выплатить мне эту сумму.

И наследство Харусека не прошло еще через все инстанции. Я с пламенным нетерпением ждал этих денег, чтобы пуститься на поиски Гиллеля и Мириам.

Я продал драгоценные камни, которые все еще носил в кармане, и снял две маленькие меблированные чердачные комнаты на Старосинагогальной улице – единственной уцелевшей от разрушений в еврейском городе.

Странное совпадение: это был тот пресловутый дом, о котором легенда рассказывает, что туда некогда скрылся Голем.

Я расспрашивал соседей – по большей части мелочных торговцев и ремесленников – верны ли слухи о «комнате без входа» – и они надо мною смеялись. – Как можно верить такой чепухе!

Мои собственные переживания в связи со всем этим за время моего сидения в тюрьме приобрели бледные очертания давно рассеянного сна, и я видел в них лишь бескровный и безжизненный символ. Я вычеркнул их из книги моих воспоминаний.

Слова Ляпондера, по временам так ярко оживавшие во мне, точно он сидел против меня, как тогда, в камере, укрепляли меня в мысли, что все, казавшееся мне реальной действительностью, *было исключительно внутренним видением.*

Разве не все, чем я обладал, исчезло и развеялось? Книга «Ibbug», фантастическая колода карт, Ангелина и даже мои друзья Цвак, Фрисландер и Прокоп!.

Был канун Рождества, и я принес к себе в комнату маленькое деревцо с красными свечками. Мне хотелось еще раз быть молодым, видеть вокруг себя блеск свечей, ощущать аромат еловых веток и горящего воска.

Еще раньше, чем наступит новый год, я буду уже, вероятно, в дороге, буду искать Гиллея и Мириам по городам и селам или куда тайна на повлечет меня.

Постепенно я подавил в себе всякое нетерпение, всякое ожидание, всякую тревогу о том, что Мириам убита, и я знал сердцем, что найду их обоих.

Во мне жила неизменная счастливая улыбка, и когда я касался чего-нибудь руками, мне казалось, что от меня исходит целебная сила. Я был целиком преисполнен удовлетворенности человека, который после долгого странствия возвращается домой и видит уже издали, как золотятся башни родного города.

Я еще раз заходил в то же маленькое кафе, чтобы пригласить Яромира к себе на Рождество. Там мне сказали, что он с тех пор не являлся больше, и я хотел уже было, огорченный, уйти, но тут зашел какой-то уличный торговец и стал предлагать разные мелкие и дешевые старинные вещицы.

Я стал перебирать в его ящике разные брелоки, маленькие крестики, булавки, и вдруг мне попало под руку *сердечко из красного камня на помятой шелковой ленточке*, и я с изумлением узнал в нем то самое, которое подарила мне на память Ангелина, когда была еще маленькой девочкой, у фонтана, в из замке.

И сразу встала передо мной моя юность, как будто бы я заглянул в стекла панорамы на детскую раскрашенную картинку...

Долго, долго стоял я, потрясенный, и смотрел на маленькое сердечко у меня в руке.

Я сидел у себя в мансарде и слушал, как еловые иголки потрескивали: маленькие веточки то и дело загорались от восковых свечек.

«Может быть, как раз в эту минуту старый Цвак играет где-нибудь свой кукольный сочельник», – рисовал я в воображении, – «и таинственным голосом декламирует строфы своего любимого поэта Оскара Винера:

А где сердечко из коралла, Оно на ленточке висело
О ты, о сердце мне отдай!

Я верен был, его любил, Я прослужил семь долгих лет
За то сердечко, что любил».

Как-то странно торжественно стало вдруг у меня на душе.

Свечи догорали. Только одна единственная свеча продолжала еще
мерцать. Дым стоял в комнате.

Словно меня коснулась чья-то рука, я вдруг обернулся и:

*На пороге стояло мое подобие. Мой двойник. В белом облачении.
С короной на голове.* Одно мгновение.

Затем огонь охватил деревянную дверь, и ворвались клубы
горячего удушливого дыма.

Пожар! Горит! Горит!

Я стремительно раскрываю окно. Карабкаюсь на крышу.

Издали доносится пронзительный треск, и звон пожарного обоза.

Блестящие каски и отрывистая команда.

Затем призрачное, ритмическое пыхтение насосов, точно демоны
воды готовятся к прыжку на своего смертельного врага: на огонь.

Стекла звенят, и красные языки рвутся из всех окон.

Бросают матрацы, вся улица покрыта ими, люди прыгают на них,
разбиваются, их уносят.

А во мне торжествует что-то диким, ликующим экстазом, сам не
знаю, почему. Волосы становятся дыбом.

Я подбегаю к дымовой трубе, чтобы спастись, потому что пламя
охватывает меня.

Вокруг трубы намотан канат трубочиста.

Я развертываю его, обвязываю им кисть и ногу, как делал это
когда-то во время гимнастики ребенком, и спокойно спускаюсь вдоль
передней стены дома.

Передо мной окно. Я заглядываю в него.

Там все ослепительно освещено.

И вот я вижу... я вижу... все тело мое обращается в один
торжествующий крик:

«Гиллель! Мириам! Гиллель!».

Хочу спрыгнуть на решетку.

Хватаюсь за прутья. Выпускаю канат из рук.

Хватаюсь за прутья. Выпускаю канат из рук.

Я падаю.

Сознание гаснет во мне.

Летя, я хватаюсь за подоконник, но соскальзываю. Не за что удержаться.

Камень гладкий.

Гладкий, как кусок сала.

XX. Заключение

«...как кусок сала!».

Это камень, который похож на кусок сала. Эти слова еще громко звучат у меня в ушах. Затем я приподнимаюсь и стараюсь сообразить, где я.

Я лежу в постели, я живу в гостинице.

И зовут меня вовсе не Пернат.

Не снилось ли мне все это?

Ну! Такие вещи не снятся.

Смотрю на часы: я еще не спал и часу. Половина третьего.

Вот висит чужая шляпа, которую я сегодня по ошибке обменял в соборе на Градчине, когда слушал обедню, сидя на скамье.

Нет ли на ней имени?

Я снимаю ее и читаю: золотыми буквами по белой шелковой подкладке чужое и так странно знакомое имя:

АТАНАСИУС ПЕРНАТ.

Это не дает мне покоя, я наскоро одеваюсь и сбегаю с лестницы.

– Швейцар! Откройте! Я еще часок погуляю.

– Куда изволите?

– В еврейский город. На Петушью улицу. Есть такая улица?

– Есть, есть, – швейцар хитро улыбается, – но в еврейском городе, имейте в виду, вы ничего не найдете. Все перестроено заново.

– Ничего. Где Петушья улица?

Швейцар толстым пальцем тычет в карту: – Вот тут.

– Кабачок Лойзичек?

– Тут.

– Дайте мне большой лист бумаги.

– Извольте.

Я заворачиваю шляпу Перната. Странно: она почти новая, на ней ни пятнышка, а такая ломкая, как будто ей много лет.

По дороге думаю:

«Все, что пережил этот Атанасиус Пернат, я сопережил с ним во сне, в одну ночь видел, слышал, чувствовал с ним, как будто бы я был им. Почему же я не знаю, что он увидел за решеткой окна в тот миг, когда веревка оборвалась и он закричал: „Гиллель, Гиллель!“?»

«В этот миг он отделился от меня», – соображаю я.

«Этого Атанасиуса Перната, – решаю я, – я должен найти во что бы то ни стало, хотя бы мне пришлось рыскать три дня и три ночи».

Так это Петушья улица?

Совсем не такой я видел ее во сне!

Все новые дома.

Спустя минуту я сижу в кафе Лойзичек. Довольно чистое помещение, без претензий.

В глубине – эстрада с деревянными перилами, несколько напоминающая старый «Лойзичек», когда-то мне приснившийся.

– Чего изволите? – спрашивает кельнерша, шустрая девушка в тщательно застегнутом фраке из розового бархата.

– Коньяку, барышня. – Спасибо.

– Гм. Барышня!

– Что угодно?

– Кому принадлежит кафе?

– Господину коммерции советнику Лойзичеку. Весь дом принадлежит ему. Очень, очень богатый господин.

«Ага, тот парень со связкой свиных зубов на цепочке от часов!» – вспоминаю я.

У меня блестящая мысль, которая поможет мне ориентироваться.

– Барышня!

– Что угодно?

– Когда обрушился каменный мост?

– Тридцать три года тому назад.

– Гм. Тридцать три года! – я соображал: резчику камней должно быть теперь почти девяносто.

– Барышня!

– Что угодно?

– Нет ли здесь, среди посетителей, кого-нибудь, кто мог бы помнить, какой вид имел тогда еврейский город? Я писатель, и меня это очень интересует.

Кельнерша раздумывает.

– Из посетителей? нет... Пойдите: бильярдный маркер, вон тот, что играет там со студентом в карамболь – видите? Вон тот, с

крючковатым носом, старик – он здесь всегда жил и все вам расскажет. Позвать его, когда он кончит?

Я смотрю туда, куда указывает кельнерша.

Длинный, седой старик стоит, прислонившись к зеркалу, и натирает мелом свой кий. Потертое, но исключительно благородное лицо. Кого он мне напоминает?

– Барышня, как зовут маркера?

Кельнерша стоит, опершись локтем о стол, лижет языком карандаш, бесконечное множество раз торопливо пишет свое имя на мраморной доске и каждый раз быстро стирает его мокрым пальцем. Одновременно она бросает мне более или менее пылкие, страстные взгляды, – как случится. При этом она, разумеется, приподымает брови, потому что это придает таинственность взгляду.

Барышня, как зовут маркера? – повторяю я свой вопрос. Я вижу по ней, что она охотнее услышала бы вопрос другого рода: почему на вас не один только фрак? или что-нибудь подобное, но я не спрашиваю этого, голова моя слишком полна моих мечтаний.

– Как там его зовут, – говорит она с надутым лицом. – Ферри его зовут. Ферри Атенштедт.

(Ах, так? Ферри Атенштедт!.. Гм, – еще один старый знакомый).

– Расскажите мне все, что вы знаете о нем, барышня, – говорю я ей с лаской в голосе и тут же чувствую потребность подкрепить себя коньяком. – Вы так мило разговариваете. (Я сам себе противен).

Она с таинственным видом наклоняется ко мне так близко, что ее волосы щекают мне лицо, и шепчет:

– Этот Ферри был когда-то третьим калачом. Он как будто из старого дворянского рода, а, может быть, это только говорят о нем, потому что он не носит бороды... и будто бы был очень богат. Одна рыжая еврейка, которая чуть не с детства была «такой» – (она снова быстро написала несколько раз свое имя), – совершенно высосала его – в отношении денег, разумею я. Ну, а когда у него больше не было денег, она бросила его и вышла замуж за одну важную особу: за... (она прошептала мне в ухо какое-то имя, которого я не расслышал). – Важная особа, разумеется, должна была лишиться всех титулов и зваться просто: фон Деммерих. Ну, вот! А того обстоятельства, что она была когда-то «такой» – он поправить уже не мог. Я всегда говорю...

– Франц! Получай! – кричит кто-то с эстрады.

Я оглядываю залу и слышу вдруг тихое металлическое жужжание, – точно жужжание сверчка – позади себя.

Я с любопытством оборачиваюсь. Не верю своим глазам.

Обернувшись лицом к стене, с маленьким, как папиросная коробочка, музыкальным ящиком в дрожащих пальцах скелета, дряхлый, как Мафусаил, сидит слепой старик Нафталий Шафранек в углу и вертит маленькую ручку.

Я подхожу к нему.

Шепотом, неуверенно поет он про себя:

«Фрау Пик, Фрау Гок О красных, синих звездах Болтали меж собой».

– Вы не знаете, как зовут этого старика? – спросил я проходившего мимо кельнера.

– Нет, господин, никто не знает ни его, ни его имени. Он сам забыл его. Он совершенно одинокий. Ему, извольте знать, 110 лет. Он каждый вечер получает у нас бесплатный кофе.

Я наклоняюсь над стариком, шепчу ему на ухо: «Шафранек!»

Как молния его пронизывает это слово. Он бормочет что-то проводя рукою по лбу.

– Вы понимаете меня, господин Шафранек?

Он кивает головой.

– Так слушайте же хорошенько! Я у вас спрошу кое-что о прошлом. Если вы мне на все как следует ответите, вы получите гульден: вот, я кладу его на стол.

– Гульден, – повторяет старик и немедленно начинает неистово вертеть ручку своего гудящего музыкального ящика.

Я крепко сжимаю ему руку.

– Подумайте, как следует! *Не знали ли вы тридцать три года тому назад одного резчика камней, по фамилии Пернат?*

– Гадрболец! Портной! – задыхаясь, лепечет он, и по всему лицу его расплывается улыбка; он думает, что я рассказал ему замечательный анекдот.

– Нет, не Гардболец... Пернат!

– Перелес?! – он в полном восторге.

– Нет, не Перелес... Пер-нат.

– Пашелес?! – он стонет от радости.

В отчаянии отказываюсь от дальнейших попыток.

– Вы просили меня, милостивый государь? – передо мной стоит маркер Ферри Атенштедт и холодно кланяется.

– Да. Совершенно верно. Мы сыграем тем временем партию на бильярде.

– На деньги? Я даю вам 90 на 100 вперед.

– Отлично: на гульден. Начните вы, маркер.

Его светлость берет кий, нацеливается, ударяет, на лице его появляется выражение досады. Я знаю эти штуки: он дает мне вперед 99 очков, а затем кончает партию одним ходом.

Мне все становится интереснее и интереснее. Я иду прямо к цели:

– Припомните, господин маркер: не знали ли вы, много лет тому назад, примерно в те годы, когда обвалился каменный мост, в еврейском городе некоего Атанасиуса Перната?

Человек в белой, с розовыми полосками, полотняной тужурке, с косыми глазами и маленькими золотыми серьгами, сидящий на скамье у стены и читающий газету, вздрагивает, пристально смотрит на меня и крестится.

– Пернат? Пернат? – повторяет маркер и напряженно думает. – Пернат? Он был высокий, худой? Русые волосы, коротко остриженная острая борода?

– Да, совершенно верно.

– Лет сорок ему было тогда. Он был похож на... – Его светлость вдруг взглядывает на меня удивленно... Вы не его родственник?

Косоглазый крестится.

– Родственник! Даже смешно. Нет. Я только интересуюсь им. Знаете вы еще что-нибудь о нем? – спокойно говорю я, но чувствую, что сердце мне сжимает ледяной холод.

Ферри Атенштедт снова задумывается.

– Если не ошибаюсь, его тогда считали помешанным. Однажды он заявил, что его зовут... подождите, подождите – да: Ляпондер! А затем как-то он стал выдавать себя за некоего... Харусека.

– Ничего подобного! – вмешивается косоглазый. – Харусек действительно существовал. Мой отец получил от него в наследство не одну тысячу флоринов.

– Кто это? – спросил я вполголоса у маркера.

– Это перевозчик, а зовут его Чамрда... А что касается Перната, то мне помнится, что он впоследствии *женился на очень красивой смуглой еврейке*.

«Мириам!» – говорю я про себя и так волнуюсь, что руки у меня дрожат, и я не могу больше играть.

Перевозчик крестится.

– Да что это с вами такое сегодня, господин Чамрда? – с удивлением спрашивает маркер.

– Этого Перната никогда не было, – вскрикивает косоглазый, – Я не верю.

Я немедленно потчую его коньяком, чтобы развязать ему язык.

– Некоторые говорят, что Пернат и теперь еще жив, – наконец выжимает из себя перевозчик, – он, говорят, гребенщик и живет на Градчине.

– Где на Градчине? – спрашиваю я, затаив дыхание. Перевозчик крестится.

– Вот в этом-то и дело! Он живет там, где ни один человек не может жить: устеныпоследнегофонаря.

– Вы знаете его дом, господин... господин... Чамрда?

– Ни за что на свете я не пошел бы туда! – отмахивается косоглазый. – За кого вы меня принимаете? Святые угодники!

– Но показать мне издали дорогу туда вы могли бы, господин Чамрда?

– Это можно, – бурчит перевозчик. – Если вы подождете до шести часов утра, я спущусь к Молдаве. Но вам не советую. Вы попадете в Олений Ров и переломаете себе кости! Святая Заступница!

Утром мы идем вместе, от реки дует свежий ветер. От нетерпения я едва чувствую землю под ногами.

Вдруг передо мной вырастает знакомый дом на Старосинагогальной улице.

Я узнаю в нем каждое окно, закругленные водостоки, решетки, блестящие, точно от жира, каменные карнизы – все, все!

– Когда в этом доме был пожар? – спрашиваю я косоглазого.

От напряжения у меня стоит шум в ушах.

– Пожар? Никогда не было!

– Да нет! Я знаю наверно.

– Не было.
– Но ведь я знаю. Хотите пари?
– На сколько?
– На гульден.
– Идет! – Чамрда приводит дворника. – Был когда-нибудь пожар в этом доме?
– Никак нет, – смеется тот.
Все-таки я не могу поверить.
– Я уже семьдесят лет живу здесь, – доказывает дворник, – я-то уже, во всяком случае, знал бы. Странно, странно!.

Перевозчик, комично и странно потряхивая веслами, переправляет меня через Молдаву в своей лодке из восьми неструганных досок. Желтая вода пенится у бортов шлюпки. Под утренним солнцем крыши Градчины отливают красным цветом. Меня охватывает чувство неопишуемой торжественности. Смутно-трепетное чувство, точно из далей прошлых существований, точно весь мир предо мною заколдован... Нереальное ощущение: точно я жил одновременно в разных местах.

Я вылезаяю.

– Сколько я вам должен, господин Чамрда?
– Один крейцер. Если бы вы помогли грести, стоило бы два крейцера.

Я иду той же дорогой, по которой шел сегодня ночью во сне: узкая, заброшенная тропинка в парке. У меня бьется сердце, и я знаю заранее:

Вот, будет голое дерево, ветви которого свисают через стену.

Нет, оно все в белых цветах.

Воздух напоен сладостным ароматом сирени.

У моих ног город лежит в утреннем свете, как блаженное видение.

Ни звука. Только аромат и сверкание.

С закрытыми глазами мог бы я ходить по маленькой, забавной улице Алхимиков, до такой степени знакомым становится мне здесь каждый шаг.

Но только там, где ночью я видел деревянную решетку перед беловатым домом, сейчас роскошная выпуклая позолоченная ограда замыкает улицу.

Два фруктовых дерева, возвышаясь среди цветущего низкого кустарника, стоят по сторонам входных ворот стены, простирающейся за оградой.

Я вытягиваюсь, чтобы заглянуть поверх кустов, и меня ослепляет новое великолепие.

Садовая стена вся покрыта мозаикой. Странно переплетенные фрески, бирюзового цвета с золотом, изображают культ египетского бога Озириса.

Ворота представляют самого бога: Гермафродит из двух половин, образуемых створками дверей, правая – женская, левая – мужская. Он сидит на драгоценном плоском троне, из перламутра... в полурельефе... его золотая голова имеет форму зайца... Уши его подняты кверху и тесно прижаты друг к другу, так что напоминают страницы раскрытой книги.

Пахнет росой, из-за стены веет ароматом гиацинтов.

Долго стою я здесь, точно окаменев, и созерцаю. Мне кажется, будто предо мною какой-то чуждый мир. Старый садовник или слуга, с серебряными пряжками на ботинках, и жабо, в странного покроя сюртуке, выходит слева из-за ограды, приближается ко мне, и через решетку спрашивает, что мне угодно.

Я без слов подаю ему сверток со шляпой Атанасиуса Перната.

Он берет его и идет через ворота.

Когда ворота раскрываются, я вижу за ними мраморный дом, похожий на храм, и на его ступенях:

Атанасиус Пернат, и к нему прислоненная:

Мириам, оба смотрят вниз на город.

На одно мгновение, Мириам поворачивает голову, замечает меня, улыбается и говорит что-то шепотом Атанасиусу Пернату.

Я зачарован ее красотой.

Она кажется такой же молодой, какой я видел ее сегодня ночью во сне. Атанасиус Пернат медленно поворачивается ко мне, и у меня замирает сердце.

Мне чудится, будто я стою перед зеркалом, так похоже его лицо на мое собственное.

Ворота закрываются, и я вижу снова только сияющего Гермафродита.

И старый слуга возвращает мне шляпу и говорит – голос его звучит точно из глубины земли:

– Господин Атанасиус Пернат почтительнейше благодарит и просит не считать его негостеприимным, что не приглашает вас в сад. Но таков здешний строгий и давний закон. Мне поручено вам доложить, что он не надел вашей шляпы, так как сразу заметил, что она обменена. Он выражает надежду, что его шляпа не причинила вам головной боли сегодня ночью.

notes

Примечания

1

Молитва в случае нечаянного употребления недозволенной пищи «хомеца» в Пасху.

2

«Великая суббота», последняя суббота перед Пасхой.

3

«Ламдоним» – ученые, «бохерлах» – мальчики, отроки, обучающиеся священному писанию.

4

Известные слова псалмопевца: «Я уповаю на помощь Твою, о Господи!»

5

Старинные еврейские комментарии к Ветхому Завету.

6

Эта еврейская надпись в переводе означает: «Союз питомцев утреннего рассвета».

Содержание

[Густав Майринк Голем](#)

[I. Сон](#)

[II. День](#)

[III. «I»](#)

[IV. Прага](#)

[V. Пунш](#)

[VI. Ночь](#)

[VII. Явь](#)

[VIII. Снег](#)

[IX. Наваждение](#)

[X. Свет](#)

[XI. Нужда](#)

[XII. Страх](#)

[XIII. Стремление](#)

[XIV. Женщина](#)

[XV. Хитрость](#)

[XVI. Мытарство](#)

[XVII. Май](#)

[XVIII. Луна](#)

[XIX. На свободе](#)

[XX. Заключение](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)